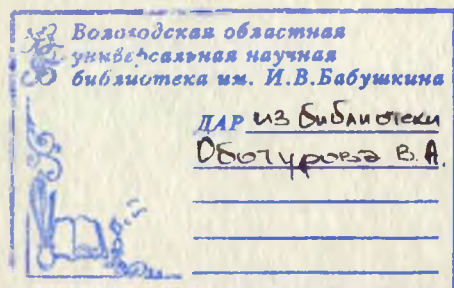


РА-1501382

VP

Сергей **В**ИКУЛОВ









# Сергей **В**ИКУЛОВ

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
в двух томах

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ  
(1944 — 1987)

Дорогой Василий Андреевич!  
Спасибо за труд, за  
книгу о моей скром-  
ной работе!

Верю в Ваше  
<sup>там</sup>  
доброе<sup>1</sup>, справедливое  
слово.

Ваш Сергей Викул

«СОВРЕМЕННОСТЬ»  
МОСКВА  
1982

ВОЛОГОДСКАЯ  
областная библиотека  
им. И. В. Бабушкина

10/хл 82 Москва

РА 1501382

**Викулов С. В.**

**В43** Избранные произведения: В 2-х т./Вступит. статья В. Коробова.— Т. 1: Стихотворения и поэмы (1944 — 1967).— М.: Современник, 1982.— 320 с.

В первый том вошли стихотворения и поэмы 1944 — 1967 годов, расположенные в хронологическом порядке.

В  $\frac{4702010200-148}{М 106(03)-82}$  201—82

**ББК 84Р7**  
**Р2**

## «...ПОЛЮБИ ТЫ ТО, ЧТО Я ЛЮБЛЮ...»

Ничем себя возвысить не хочу.  
Я только ветвь на дереве могучем.  
Шумит оно, когда клубятся тучи,—  
и я шумлю... Молчит — и я молчу.

*Сергей Викулов*

Много говорено было, что поэт Сергей Викулов — поэт русской деревни, что большая часть его стихотворений и поэм посвящена людям села, их нелегким судьбам, что на страницах его книг живут колоритнейшие народные характеры, а собранные воедино, они составляют как будто громадную российскую деревню, живущую полнокровной жизнью. Деревня эта знавала (и знает) свои победы и поражения, свое горе и свою радость; есть в ней свои Хори и свои Калинычи, свои трудяги и свои лежебоки, свои философы и свои политики, люди душевные и черствые, добрые и сердитые, выдающиеся и заурядные — самые разные люди. «В ней есть свои заулки, где вечерами собирается молодежь, и свои завалинки, где дымят самокрутками старики, свои песни и свои пляски. И тысячами незримых нитей эта викуловская деревня связана с большим и беспокойным миром, с теми бесчисленными городами и селами, где либо покоятся ее солдаты, не вернувшиеся с войны, либо живут родственники ее нынешних жителей, либо учатся ее дети, будущие врачи, учителя, сталевары, агрономы и космонавты» (В. Кочетков). И много раз в подтверждение этих истин и как горячее свидетельство авторского неравнодушия, страстной привязанности и сопричастности тем судьбам и характерам, о которых он повествует, как высокое свидетельство подлинной любви звучали в критических статьях последних десяти — пятнадцати лет строки из поэмы Сергея Викулова «Окнами на зарю», строки, ставшие ныне крылатыми, повсеместно известными:

...И когда я кричу,  
что деревню люблю,— это значит, Россия,  
я тебе в этом чувстве признаться хочу!  
Ты иная сегодня. Ты в космос врубилась...  
Но и громом ракетным встречая свой депь,  
я хотел бы, Россия, чтоб ты не забыла,  
что когда-то ты вся началась с деревень.

Не менее известна и мысль о том, что поэзия Сергея Викулова — поэзия гражданственная, проблемная, публицистическая и полемическая, многими своими гранями следующая замечательным традициям Некрасова, Твардовского, Исаковского и плодотворно эти традиции продолжающая. Равно как и мысль о том, что поэтика Викулова опирается на народное стихосложение, на богатейший фольклор — былины, сказки, песни, баллады, причитания и частушки русского народа, что муза поэта — простая и прекрасная русская крестьянка, которой чуждо все искусственное, натужное, вычурное, вся жизнь которой — внешняя и внутренняя — протекает открыто, на миру. Жизнь — всамделишная, такая, какая есть в

действительности, созпательно избегающая красоты (по не красоты!), занимательности (но не правды!), эффектности (но не остроты!).

«...Мне чужда поэзия заумная, я бы сказал — ребусная, формалистическая, прикрывающая свое скудоумие, пустопорожность ложным глубокомыслием, внешним украшательством», — сказал Сергей Викулов в предисловии к одной из своих итоговых книг. И далее, отнюдь не склонный к творческим декларациям, поэт определил: «Мое кредо: если у тебя есть что сказать, говори ясно, так, чтобы тебя поняли. Слова, даже зарифмованные и ритмически организованные, существуют не для того, чтобы сотрясать воздух, а для того, чтобы передавать мысль. Мысль — главное в поэзии. Причем мысль не шаблонная, не затасканная, а новая, глубокая, общественно значимая, отражающая твое мировоззрение, без которого вообще поэта быть не может».

В достоверности этих слов, в пезаурядности мыслей поэта убедится, думаю, всякий, кто внимательно прочитает этот двухтомник, как убедится он и в подлинности того, что выразил Викулов еще в начале шестидесятых годов такими вот строками:

Стихи мои о деревне  
и радость моя, и боль!  
Кто зову земли не внемлет,  
едва ль вас возьмет с собой...

Не очень-то вы нарядны  
и — где уж там! — не модны.  
Вы будничны, не парадны...  
И все-таки вы нужны,  
я верю, тому, кто в поле  
упрямо растит зерно,  
чьи с коих-то пор мозоли  
в стихах поминать грешно.

Держите ж голову гордо,  
стихи мои! Мы и впредь  
о них, не жалея горла,  
по-своему будем петь!

...Но не слишком ли часто, не слишком много ли упираем мы, говоря о поэзии Сергея Викулова, только и именно на деревню, на проблемы и характеры чисто сельские, связываем их — вольно или невольно — с сюжетами, вопросами и образами, столь хорошо нам известными и близкими по произведениям Ф. Абрамова, С. Залыгина, В. Белова, Е. Носова, В. Распутина... — теми, что числятся последние годы по ведомству так называемой деревенской прозы?

Поэзия Викулова, как всякая подлинная поэзия, имеет большое самостоятельное значение, важна не только и не столько в связи с тем-то и тем-то, но содержит, несет в себе огромный и цельный, совершенно своеобразный художественный мир.

\* \* \*

Не столь уж трудно обнаружить перекличку произведений Сергея Викулова с теми или иными историческими закономерностями.



стями и переменах, проблемами ведения сельского хозяйства и возникающими в связи с этим нравственными вопросами, столь широко и многогранно сопутствующими пути советского крестьянства от коллективизации до наших дней. (Перекличку, заметим, не иллюстративную, не чисто фактологическую, не заданную под ответ.) Но — вот это и важно увидеть и понять! — социальное, общественное и нравственное значение поэзии Викулова отнюдь не исчерпывается этой перекличкой.

Читая стихи С. Викулова, мы тут же вспоминаем об острейшей проблеме — уходе молодежи из села, — начинаем с болью размышлять о проблемах Нечерноземья, о любви к земле, о верности своим истокам. И вопрос этот — особенно при пристальном восприятии других стихотворений и поэм Сергея Викулова, таких как «Плуг и борозда», «Мать и дочь», «Про бабу Груню», «Она мне матерью была», «Уехала девочка в город», «Городское утро», «Песня о кузнеце», «Письма из деревни», «Остался в поле след» и многих-многих других, — вопрос этот явственно ощущается нами как один из коренных и самых главных — самых ответственных! — вопросов не какой-то там прошлой, а самой что ни на есть современной жизни, и более того — вечной жизни, как определяющая часть всегдашнего человеческого бытия.

Хотелось бы, чтобы читатель заметил, отчетливо ощутил и другое: проникновенную лиричность, высокую и одновременно интимную исповедальность многих строф и строк этих двух книг.

До сна еще далеко.  
Еще бабушка сядет с прялкой,  
небольшой, но такой баской —  
словно в горенку глянет солнышко.  
И закружится веретенышко,  
зажужжит под ее рукой,  
запотрескивают дрова,  
свет заплещет у ног — в два лучика...  
И придут ей на ум слова  
песни старой про Вапьку-ключника.  
Под жужжанье веретена —  
прядись, ниточка, прядись, тонкая, —  
поплывет по избе она,  
и неспешная и негромкая.

Ой, не вьюгою ли шальной  
ее тропочка заматается!  
Песня льется, переплетается  
с тонкой ниточкою льняной.  
И протяжна, и широка,  
и ничем таким не расцветена,  
выпрядается бесконечная  
вместе с ниткой из кужелька.

Это отрывок из стихотворения «Бабушкины песни», но как пример высокой лиричности поэзии Сергея Викулова можно было бы привести цитаты из стихотворений «Русские сказки», «Весенний базар», «Зимняя дорога» и многих-многих других стихотворений и поэм.



пеет брусничинкой спелой в клюве капелька крови... Бледнеет заря...» О, мы не сентиментальны, мы не против охоты! Но почему, почему так ненавистен сделался нам этот стрелявший? Может, все дело в усмешке его: мол, царь, а не птица, «но глухарь! Удивительный просто г л у х а р ь!» Непроизнесенное — «убийство» — вертится на языке, сжимаются в гневе кулаки. Да что мы, право, — это же стихи, рифмы, строчки, надо очнуться!.. Мы забыли, что это написано непонимающими глазами смотрим на белые степы и только потом видим перед собой раскрытую книгу...

Можно прочесть тысячи статей о сохранении природы, о бережном отношении ко всему живому на земле и остаться равнодушным «туристом», рубящим молоденькое деревце на стойку для палатки. Прочитав «Глухаря», «На тетеревином току», «Лес без подростка», «Пили из речки кони...», «Чем дальше в лес...», мне думается, остаться душевно глухим невозможно!

У героев Викулова — особенные отношения с природой. Они живут и работают не среди природы, не на природе, а как бы в самой природе. Все слито и нераздельно: поэзия, тяжесть и праздничность земледельческого труда с поэзией разбушевавшейся стихии и золотым осенним увяданием матери-природы. Это очень древнее сознание, а вернее, ощущение, чувствование, которое почти невозможно передать словами. Напомним лишь, что календарь русской природы — это и земледельческий календарь, а высокая духовность русского крестьянина проявляется прежде всего в труде. Работа для него — и повседневные нелегкие будни, и праздник, особенно когда работают миром, например, сенокосят или помогают односельчанину построить дом.

«На дугу», «Стог», «Сенокос», «И моя заслуга», «Деревенская осень», «Я вышел к стогу», «Поднимайся, мой дом...», «Летний дождь»... Немало еще можно назвать стихотворений Сергея Викулова, в которых работа показана как высокая духовность, как праздник и в то же время как особенные отношения с природой. Причем трудно (и не нужно) отделять одно от другого, все это как бы равноправные и взаимозависимые составляющие: работа — природа — праздник — духовность.

Как никогда прежде стремится поэт в последние годы к синтезу, к выявлению нравственных и духовных ценностей. И в «большой» и в «малой» поэтической форме преобладает у него уже не «злоба дня», а подлинная современность, вбирающая в себя уроки и заветы недавнего и далекого прошлого, все лучшее, что в этом прошлом было. Более того: «сегодня» во многих его последних произведениях перекликается не только с «вчера», но и с «завтра». Проще говоря, поэт пишет не только на современные, но и на вечные темы, вернее, он пытается выявить в современном вечное и, наоборот, в вечном современное.

В поэме «Остался в поле след» поэт пытается синтезировать вопросы и проблемы экономические, хозяйственные, социальные; здесь вопросы взаимоотношений деревни и города неразрывно слиты, связаны, переплетены с вопросами и проблемами нравственности — с памятью и честью, совестью, добротой, отзывчивостью, душевной неуспокоенностью, высокой духовностью...

Поэтическое мастерство Сергея Викулова, возросшее за последние годы, привело его к ясной простоте формы, к разговору на чистоту, прямо.

Сказать в стихах прямо, но так, чтобы при этом не пострадала сама поэзия, художественность,— задача наисложнейшая. И, честно скажем, не всегда поэт с ней до конца справляется. Но когда поэт справляется с такой задачей, тогда выходит из-под его пера такие стихи:

Когда костер, что грел тебя, потух  
под утро — не отчаивайся,  
прежде  
чем тронешь пепел палкою в надежде,  
что есть под ним веселый дух  
огня...  
И, обнаружив уголек,  
хотя б один,  
вставай па четвереньки,  
бересту подыгай и помаленьку  
вдувай, вдувай желанный огонек!

Вздувай, поскольку спички, под дождем  
вабыты, безнадежно отсырели.  
Вздувай, мой друг,  
стремись упрямо к цели,  
вздувай — и будешь ты вознагражден!

Опять к теплу потянется рука.  
Да и душа оттаает...  
Знай, дружище:  
нет ничего печальней пенелища,  
в котором под золой — ни уголька.

И потому, когда шумят ветра,  
когда в лесу хозяйничает осень,—  
не поленись хотя б сучок подбросить  
в костер, чтоб не потух он до утра.

Чтоб снова огонек-неугомон  
от уголька родился на рассвете...  
Остывший пепел!  
Есть ли что па свете  
для сердца холодней еще, чем он?!  
(«Костер, что грел тебя...»)

Сказано прямо, но отнюдь не прямолинейно. О каком костре стихотворение?.. Конечно же не о бивущем, лесном и таящем — о костре жизни. Твоей, моей, нашей жизни. Стихотворение о горечи жизни, ее потерях и утратах, разочарованиях и катастрофах, тоске и печали... И о том, что все равно жизнь неистребима, что костер ее, свет ее, теплота гаснут чаще всего именно по нашей вине: не ищем уголек, не раздуваем, отступаем, не боремся за

правду, и — лишь пепел жизни взамен: холодеют сердца, черствеют, засыхает душа... «Вздувай, вздувай желанный огонек!»

...Читая стихотворения Викулова, входящие в циклы «Залеточка», «Перламутровые ряды» и некоторые другие, воочию представляешь отношение крестьянина к любимой женщине, все своеобразие, всю поэтичность, сокровенную недоговоренность и непостоянство этой любви, всю ее чистоту, благородство, целомудрие и искренность, верность, готовность пожертвовать едва ли не всем ради любимого человека.

Не трудно заметить фольклорную основу этих стихотворений. Более того, при особом желании и дотошности можно обнаружить и некоторые их «первоисточники», а именно: найти соответствующие частушки, взяв в руки сборники народного творчества, составленные более двадцати лет назад самим же поэтом. Но тут же и обнаружится: фольклор остался фольклором, та или иная частушка дала автору лишь первоначок, навела на какое-то очень важное наблюдение, остальное же — его рук, его души дело. Он как бы расшифровал нам символику и поэзию этой потаенной и — одновременно — такой явственной для окружающих, для односельчан, любви.

Сергей Викулов внес многое в поэзию о народной любви, как в поэзию чувства сокровенного и единственного на все отпущенные годы, как чувства ответственного, требующего не только чистоты, но и самопожертвования, отваги, преданности и верности любимому человеку во всех бедах, невзгодах, несчастьях. И даже если печальна, неразделенна и грустна эта любовь, то все равно она если искренна, то и благодатна, дает душе силу и просветленность.

И при всей «деревенской» конкретности, при всей детальности любовь в поэзии Викулова имеет и вечный отблеск. «О чем поэма?» — спрашивал Сергей Орлов, анализируя викуловскую поэму «Одна навек», и отвечал: «Да о мужчине и женщине (рядка моя. — В. К.), а точнее — о мальчике, юноше, солдате, муже, отце и о девочке, девушке, невесте, жене, матери. С пронзительным лиризмом звучат главы этой поэмы, повествующей о двух судьбах в дни мира и войны. Солнечный ветер сенокосных лугов схлестывается в ней с огневой бурей, проносимой над черными окопами; годы, жизнь торжествуют над бедой, и на крут в восьмистрочном промельке выходят новые мальчишка и девчонка, почти такие же, но уже с новой, иной, еще неизвестной нам судьбой, как бы подчеркивая этим кругооборот жизни — неизбежный и вечный».

Мужчина и женщина, крестьянин и крестьянка, отношение любимого к любимой — «да святится имя твое!» — об этом мы будем помнить и размышлять, прочитав однажды вдумчиво — задумавшись об отцах и дедах, бабушках и матерях — эти стихотворения и поэмы Сергея Викулова.

\* \* \*

Поэзия Сергея Викулова многогранна и глубока, она возвращает нас к нашим истокам — родному и близкому, заветному... И пусть ныне она воспринимается — в большей степени — как поэзия о русской деревне; уже завтра, в далеком будущем, мы будем читать его стихотворения и поэмы как слово о Рос-

с н и — ее судьбе, ее боли и радости. У Федора Достоевского сказано: «Не люби ты меня, а полюби ты *мою*» — вот что вам скажет всегда народ, если захочет увериться в искренности вашей любви к нему... Народу *надо*, чтоб его не за одни страдания любили, а чтоб полюбили и *его самого*. Что же значит *полюбить его самого*? «А полюби ты то, что я люблю, почти ты то, что я чту» — вот что то значит и вот как вам ответит народ, а иначе он никогда вас за своего не признает, сколько бы там о нем ни печалились. Фальшь он тоже всегда разглядит, какими бы жалкими словами вы ни соблазняли его...»

Замечательное это высказывание имеет самое прямое отношение и к творчеству Сергея Викулова и в значительной степени выражает и определяет метод, суть, пафос и значение его.

Владимир Коробов



# 1944 - 1949

## ПИСЬМО

Жизнь проходит в постоянных стычках,  
был сегодня бой, и завтра — бой.  
У меня теперь уже привычка  
перед боем говорить с тобой.

Говорить — не только вспоминая,  
дать мечте раскинуть два крыла,  
чтобы ты, далекая, родная,  
верила, как прежде, и ждала.

В темноте землянки прислониться  
к свежей, смолкой пахнущей сосне,  
думать... и заснуть, чтобы присниться  
ты могла бы мне в коротком сне.

И назло войне, назло разлуке  
побывать в далеком далеке,  
белые твои погладить руки,  
утереть слезинку на щеке...

1944

## В ДОРОГЕ

Рельсы, перегоны,  
Тополиный цвет...  
На плечах погоны —  
Труд военных лет.  
Еду пятый день я.  
Встреча так близка.  
А в груди сомнения,  
А в груди — тоска.  
«Неужель забыла?..»

Столько лет прошло.  
Было, было, было,  
Былью поросло.  
Нет, тебе я верил  
На войне вдвойне.  
Постучусь —  
и двери  
Ты откросьшь мне.  
Выбежишь навстречу,  
Бросив все дела.  
Обниму за плечи  
И пойму: ждала!  
— Улетай, тревога.—  
Тихо говорю.  
И летит дорога  
Напряжим в зарю.

1946

## ВОЗВРАЩЕНИЕ

Матери, Екатерине Васильевне

Вот и дом мой. Старые березы  
у окна по-прежнему шумят.  
Я пришел. Но почему же слезы?  
С радости, как люди говорят?

Утром рано-рано, на крылечке,  
словно заворóженный стою  
и в окошко вижу я у печки  
маму постаревшую мою.

Я шатаюсь, словно выпил лишку.  
Только дверь толкнуть — и дома... вот!  
— Помнишь, мама, среднего сынишку,  
много доставлявшего хлопот?

Ты меня бранила непоседой —  
я не унимался все равно...

Мама, это я пришел с победой,  
как и обещал тебе давно!

Я пришел. Но знаю: нету брата.  
Я пришел. Но знаю: нет отца.  
Утираю, будто виноватый  
в чем-то, слезы с мамина лица.

Сколько в волосах ее кудели  
прибыло! Потух в глазах т о т свет...  
Мы с тобою, мама, постарели  
на войну — не просто на пять лет.

Я ведь тоже старше стал, я тоже...  
Юным словно я и не бывал.  
Я ведь пять годов не просто прожил,  
я их, пять годов, провоевал.

До чего же длинными те годы  
были... Сколько пережил я, испытал!  
Знаю, капитанские погоны  
мне к лицу, но мне не по летам...

Ах, стряхнуть бы с плеч скорей усталость  
да и тяжесть робы заодно!  
Поищи-ка, мама, что осталось  
от отца иль брата — все равно.

Баньку затопи, достань мне веник...  
Облачась в рубаху да штаны,  
я хочу, родимая, поверить  
до конца, что я пришел с войны.

Пусть нагрянут девки, как когда-то.  
Встречу их с гармошкой у крыльца,  
разверну... И вспомню: нету брата...  
Нету брата, вспомню, и отца.

Друга тоже нету...  
Сброшу руку  
с клапанов: ударит в сердце зной...  
Не разлуку мы с тобою — муку  
пережили! Сядь рядом со мной.

Дай хоть руки я твои погрею...  
Знаю, на войне я огрубел,  
но не бойся: я смогу добрее  
и нежнее, мама, стать к тебе.

Взгляда равнодушного не брошу  
и не упрекну тебя ни в чем,  
тяжкую твою, не бабью, ношу —  
время! — подопру своим плечом!

Потому что понял я: на свете  
нет для матерей страшней судьбы —  
ждать домой детей, когда их дети  
на войну ушли — не по грибы;

верить черным снам, бояться сглазу,  
плакать, но вершить-таки дела...  
Русских баб, пожалуй, жизнь ни разу  
этою судьбой не обошла...

*1948—1980 гг.*

## РЫБАЧКА

Тянут чайки в даль просторную  
и кличут на лету.  
А она стоит, задорная,  
смеется на плоту.

Свежий ветер треплет волосы,  
шумит по берегам.  
Золотую солнце полосу  
ей бросило к ногам.  
Не просохли травы росные...  
Широкая река  
отражает в полный рост ее  
с косынкой в облаках.

Под косынкой — кудри белые,  
крутых бровей разлет.

И слывет рыбачкой смелою  
она не первый год.

Ничего, что тучи ярусом  
повиснут в небесах,  
за ее выходят парусом  
другие паруса.

Где росла она, бедовая  
такая?.. У реки!  
Было дело: трехпудовые  
ворочала мешки.

То ли с хлебом, то ли с рыбою —  
все жилочки в струну.  
Мужиков-то всех повыбило,  
повыбило в войну.

Ох уж бабоньки поохали,  
поплакали в тот год...  
Но пришел один целехонький —  
одна рука не в счет...

И забылось горе — диво ли! —  
пришел ее жених!  
Знать, она была счастливее,  
счастливее других.

*1948—1980 гг.*

## ОСЕННЕЕ

Снова тихо стало на гумне,  
заперты широкие ворота.  
И тревожно кличут в вышине  
журавли над Лапачским болотом.  
Инея серебряный отлив  
на широких крыльях вдаль уносят.  
Улетают к югу журавли:  
о с е н ь...

Воробьи, промокнув от дождей,  
греются у пламени рябины.  
И на черной плавают воде  
листья, облетевшие с осины.  
А наутро в речке тонкий лед  
синевой зеркальной отольется.  
Гусь вразвалку к речке подойдет,  
с берега шагнет — и поскользнется.  
И в холодный протрубит рассвет,  
дикое влечение почуяв  
улететь туда, где стужи нет,  
где собратья стаями кочуют.  
Осень, осень...  
Я ли загрущу?!  
За ворота выйду спозаранку,  
и прильнет, как до войны, к плечу  
старая отцовская берданка.  
Свежим сеном выставлю шалаш.  
Косачи поднимутся из лога...  
Только не волнуйся ты, Серега,  
только ты, Серега, не промажь!..

1948

\* \* \*

Г. В.

Пойдем со мной. Такое расскажу,  
что позабудешь обо всем на свете.  
Лесною сказкою заворожу  
и все перед тобою положу,  
лишь только протяни мне руки эти.  
Увидишь ты чудесную страну.  
Там по утрам березы мечут листья  
в прозрачно-голубую вышину.  
Озера пред тобою распахну,  
найду гнездовья птиц и норы лисьи.  
Водою родниковой напою,



такой водой, что губы обжигает.  
И чуть ли не у мира на краю  
в лесу, любовь поведаю мою  
Такой любви еще никто не знает.

1948

## ДОЖДЬ

Дождь такой хлестнул из тучи хмурой,  
Будто опрокинули ушат...  
Непредусмотрительные куры  
Под телегу спрятаться спешат.

Потемнело. Улицы безлюдны.  
Только там, где пенятся ручьи,  
Ребятишки делают запруды,  
До колен штанишки засучив.

Дождик, озорной и тонконогий,  
Весело по лужицам стуча,  
Пошумел у нас еще немного  
И ушел в «Заветы Ильича».

А вокруг  
И зелень луговая,  
И цветы купаются в воде.  
Пашет трактор...  
Вспашку проверяя,  
Ходит грач за ним по борозде.

1949

# 1950 - 1956

\* \* \*

Тишипа пад озером. Ныряют,  
оторвавшись, звезды в глубину.  
Мы плывем, на весла поддевая  
в озеро упавшую луну.

Далеко до берега родного —  
что за горе?! Бросим якоря  
и заснем, пока с востока снова  
не прольется алая зоря.

Утром нас разбудят крики чаек.  
Встанем: «Ух погодка! Хороша!»  
Словно зыбку, лодочку качает.  
Веселись, рыбацкая душа!

Сядем в весла  
и направим лодку  
к месту, где поставлен перемет,  
где судак с крючком железным в глотке  
бьется, что случилось — не поймет.

Бьется, сыт наживкою вчерашней...  
Лодку сносит. Снасть — как тетива...  
«Ох работка... Тяжелее пашни!» —  
с мокрых губ срываются слова.

1950

## В ЖАРУ

Жара в степи под сорок градусов.  
Со лба стирая жаркий пот,  
приветствуют шоферы радостно  
того, кто воду продает.

Да кто не рад сегодня случаю,  
спеша на стройку, по пути,  
к сухим губам с водой пипучею  
стакан холодный поднести!

У продавца рубцом малиновым  
над ухом шрам наискосок  
и под широкою штаниною  
протез, увязнувший в песок...

Клубится пыль над котлованамц,  
и без пощады солнце жжет,  
а он гранеными стаканами  
прохладу людям раздает.

Солдат — он жажду сам испытывал  
от этих мест невдалеке.  
За Сталинград, в бою добытая,  
блестит медаль на пиджаке.

1951

## О ТИШИНЕ

Степная речка высохла давно.  
И экскаватор, берегом ступая,  
речушки этой глинистое дно  
и день и ночь без усталости копает.

Сырого грунта гулкие шлепки —  
как взрывы бомб.  
А на земле, устало  
тяжелые раскинув кулаки,  
спит мастер сменный:  
знать, давно не спал он.

Как богатырь, лежит он на спине,  
а рядом продолжается работа...

Вот так же спят солдаты на войне  
меж двух атак, под рокот пулемета.

Спит человек. И даже видит сны,  
в которых лес, пшеница у дороги...  
А вот случись минута тишины —  
и вскочит он, как воин по тревоге!

1952

## БАЛЛАДА О ВОДЕ

Я помню бой в степи, под Сталинградом.  
Хотелось пить — и ржавая вода  
для нас была единственной отрадой —  
ее мы приносили из пруда.

Разрывы мин кругом. Не сделать шагу,  
чтоб не упасть. Но кто-то полз туда  
и падал, не успев наполнить флягу  
живой водой из мертвого пруда.

Воды, воды!.. Но в небе, словно вата,  
пылали кучевые облака.  
И снилась Волга раненым солдагам —  
отчизны милой главная река.

Орда не покорившаяся вражьей,  
она легла преградой смертной ей...  
Измученный бессонницей и жаждой,  
шутил сержант: «Ребята, веселей!  
Дождь будет утром — видно по закату.  
Переживем, здесь ночь не так долга.  
Мы — русские! А русскому солдату  
не занимать терпенья у врага!»

...Расстались мы с сержантом в сорок пятом,  
когда победный отгремел салют.  
Я вновь в степи, где раньше был солдатом,  
где нынче шлюзы над землей встают.

Еще леса не радуют здесь взгляда,  
еще не вышли в плаванье суда,

по плещется у борта земснаряда,  
врываясь в степи, волжская вода.

И кажется мне: тут, где снова жарко,  
по не от взрывов и не от огня,  
я встречу батарейного сержанта  
и обниму его, а он меня...

И на площадке, там, где встали краны,  
где нас фашизм испытывал бедой,  
счастливые,  
                                поднимем мы стаканы  
с пришедшей в степи волжскою водой!

1951

## ПУТЬ ОТКРЫТ!

Над шлюзом — радугою арка.  
Она в лесах еще. Но вот  
От Волги, праздничный и яркий,  
В канал wpłyвает теплоход.

Нет, он покуда не туристов  
Везет... Под птичий свист и гам,  
Как лебеденка лебедь,  
                                пристань  
Ведет он к новым берегам.

Минует ночь... Вспугнувши чаек,  
Гудок раздастся в тишине,  
И пристань к берегу причалит,  
Слегка качнувшись на волне.

И якорей тяжелых лапы  
Уйдут на дно, натянут цепь,  
И перекинут люди трапы  
В ковыльную сухую степь.

А завтра, может быть,  
                                нессмелый,

Пешком из хутора сюда  
Придет парнишка загорелый  
И — в путь, на долгие года.

Он будет знать — хоть молод слишком —  
Чего искать, куда идти...  
И крикнет с берега парнишке  
Девчонка:  
— Доброго пути!

1951

## У ЗНАМЕНИ ПОЛКА

У боевого знамени полка  
Стоит солдат с винтовкою в руках.  
Отражено в глазах его стальное  
И грозное сверкание штыка.

Те, что под этим знаменем не раз  
Ходили в бой, —  
уволены в запас,  
И охранять святыню полковую  
Ему страна доверила сейчас.

Десятки городов и сотни сел  
Наш полк под этим знаменем прошел.  
И в майский день

на Эльбе  
знаменосцы  
Его вложили бережно в чехол.

Победой нашей кончилась война!  
На алом шелке блещут ордена.  
Пусть знают все:  
знаменами такими  
Богата победившая страна!

Идут года...  
У знамени полка  
Стоит солдат с оружием в руках,



И светятся отвагой беззаветной  
И гордостью большой  
                                глаза стрелка.

Пускай в сражение яростном, в дыму  
Идти вперед не довелось ему,—  
Но если будет дан сигнал:  
                                «В атаку!» —  
Он первым встанет —  
                                видно по всему.

1952

## НОВЫЙ КОМАНДИР

Вот он стоит, высокий, стройный,  
Перед развернутым полком.  
Глаза распахнуто-спокойно  
Блестят под черным козырьком.

Ему лет тридцать — не иначе.  
Короткий список послужной  
Им был в стрелковой роте пачат  
Перед великою войной.

Шеренги замерли.  
Отрадно  
И для старшин и для солдат,  
Что на сукне его парадном  
Сверкает золото наград.

Он все изведal в полной мере:  
Победы радость, боль утрат...  
И полк испытанный поверил  
Особой верою солдат  
В его отвагу и умение...  
А то, что молод,— не беда!  
Ведь он не только на ученьях —  
Брал в самом деле города!

Недосыпая, дымом греясь  
У пепелищ,  
                    прошел оп путь  
От Волги и до мутной Ширее...  
А это значит что-нибудь!

1952

### А ТЫ БЫ СМОГ?..

Сюда, где между двух берез  
Дот в землю врос,  
Где трав зеленая волна,  
Да тишина,  
Да амбразуры глаз пустой,—  
Приди, постой!  
Замри на миг — и мертвый дот  
Вдруг оживет.  
И раскаленный пулемет,  
Дрожа, начнет  
Лесок простреливать. А там  
Лежишь ты сам.  
Вот целится в тебя сейчас  
Граненый глаз.  
И снег вокруг изрыт свинцом,  
В крови лицо...  
Но ты ползешь: еще бросок...  
Еще рывок!..  
И вот он враг! Но нет гранат...  
А под огнем друзья лежат...  
Решай, солдат!  
...Ты здесь и часу не стоял,  
А старше стал,  
И понял ты, о чем шумят,  
О чем твердят  
С продутой ветром высоты  
Берез листы  
И травы шепотом у ног:  
«А ты бы мог?»  
А ты бы мог, как оп, в снегу,  
Лицом к врагу

Ползти и броситься вперед  
На пулемет,  
Чтоб дот, ослепнув, сразу смолк?!  
А ты бы смог?

1953

\* \* \*

На костореза тонкую работу,  
постичь желая суть ее, гляжу...  
С трудом поэта родственное что-то  
в работе костореза нахожу.

Он трудится и долго и упорно,  
и под резцом, едва еще видны,  
вдруг оживают кружевном узорным  
и были, и преданья старины.

Но, прежде чем созданием искусства  
обломок кости станет, сколько раз  
угрюмый косторез, доверясь чувству,  
его резцом коснется, щуря глаз!

И все ж, дивясь терпенью костореза,  
я с завистью гляжу на кузнеца,  
чей грубый труд — поэзия железа —  
в тяжелых взмахах и в поту лица...

Вот белый брус из пышущего горла  
кузнец рывком под молот подает  
и сталь тугую, ставшую покорной,  
как будто глину, комкает и гнет.

Могучи, и уверены, и точны  
удары кузнеца... Твердеет сталь!  
И вот уже, сработанная прочно,  
звения, на землю падает деталь.

И трудно это кажется, и просто!..  
Хотел бы я постигнуть до конца  
и терпеливость резчика по кости,  
и вдохновенье кузнеца!

1953

## ВОСПОМИНАНИЕ

Детства никогда я не забуду...  
Батка брал меня с собою всюду.  
Заставлял орудовать кнутом,  
Чтобы легче было мне потом,  
Чтобы знал, свыкаясь понемногу,  
Тяжкую мужицкую дорогу.  
Чтобы я учился с малых лет  
Спать в телеге и встречать рассвет  
На колесах где-нибудь в пути:  
«Жизнь прожить — не поле перейти».

Вот таким у батки я и рос.  
Засыпал в пути под скрип колес  
Да под песню грустную отца —  
Песню без начала, без конца.  
А наутро за болотом вязким,  
На скрещенье лапотных дорог,  
Невелик, но древен, словно сказка,  
Открывался взгляду городок.

Он стоял, маяча над полями,  
Как бока коровьи, куполами,  
Не тревожа тишины раскольной  
Гулким перезвоном колокольным.  
И ползли к нему со всех концов  
Скрип телег да ливни бубенцов,  
Замирая где-то у ларьков  
Под степенный говор мужиков.

В город привозил отец товар —  
Сено да сосновые дрова.  
Окружали бабы мужика:

«У тебя, мол, легкая рука!»  
Но не даст он маху, не промажет.  
Покряхтит, помпнется да и скажет,  
Почесав затылок: — Маловато. —  
Отвечают: — Будешь жить богато!.. —  
И отец и сено и дрова,  
Плюнув, по дешевке продавал.

Покупал потом мне из ларька  
Сахарного «петю-петушка» —  
И домой!.. И снова скрип колес,  
Тренетанье робкое берез,  
Ветерок, влетающий за ворот,  
Колеистый путь... А сзади город —  
С пестротой базарной, с голубями,  
Целый день летавшими над нами.

...Дань отдав хмельному куражу,  
Батька спит, а вожжи  
я держу...

1953

\* \* \*

Полусумрак над лугами,  
и еще темно в лесу.  
Хорошо сшибать ногами  
с трав холодную росу.  
Через речку пету моста —  
бродом речку перейду,  
ва туман косою острой  
задевая на ходу.  
Перейду... Но где направо  
мне свернуть бы — не могу,  
вижу: трактор косит травы  
на Любавином лугу.  
Я стою у поворота,  
восхищаясь от души.  
Вижу — чистая работа...  
Да и травы хороши.

Не видал я, чтобы краше,  
чем у нас, луга цвели!  
Машинист мне кепкой машет:  
— Эй, пехота, не пыли! —  
Парень хвастает споровкой  
не напрасно, вижу — прав...  
Пусть! И нам с собой, литовка,  
разгуляться хватит трав!  
Мы с тобой прокос проложим  
от куста и до куста,  
мы с тобой пробраться сможем  
через топкие места...  
Как работает «пехота» —  
ты, что косишь за рекой,  
перейди через болото,  
полюбуйся, черт такой!

1954

## ВЕЧЕР НА ШЕКСНЕ

Над рекой Шексною снова вечер.  
Ветры, стихнув, в травы прилегли.  
Лишь плывет течению навстречу  
лодка одинокая вдали.

Отражен рекой закат багровый.  
Там, где встали сосны над водой,  
держит вахту бакенщик суровый —  
транспорта речного рядовой...

Глухомань вокруг... Но, видно, с детства  
полюбил всем сердцем человек  
леса молчаливое соседство  
и непостоянство вольных рек.

К бакену у дальнего откоса  
он гребет один на веслах двух,  
и плывет, негромкая, над плесом,  
может, песня, может, дума вслух...



Берега в туманы окунутся,  
догорит над лесом край зари —  
на плавучих бакенах зажгутся,  
обозначив русло, фонари.

Поведут суда среди излучин  
капитаны, стоя у руля...  
Над рекою слышен скрип уключин,  
словно сонный крик коростеля.

1954

## НА ЛУГУ

Как хорошо остановить машину,  
распрячь коней — пора и отдохнуть, —  
присесть под куст и к горлышку кувшина  
губами пересохшими прильнуть.

Напиться всласть — а квас и злой  
и крепкий! —  
и добрым словом помянуть жену.  
Потом прилечь, надвинув на лоб кепку,  
и долго-долго слушать тишину.

А тишина, как марево, густая.  
Стучат в траве кузнечики. И ты  
средишь с улыбкой, как шмели, летая,  
считают уцелевшие цветы.

Здесь столько ими собрано нектара!  
И хочется участливо сказать:  
«Спешите же, осталось два гектара.  
Вот отдохну — и буду запрягать!»

1954

## В МЕТЕЛЬ

Ах, давно ль это было,  
как вошел ты, Степанко,  
со звездой пятикрылой  
на армейской ушанке  
в сумрак горенки чистой,  
где ждала тебя мама,  
где ты мог перечислить  
каждый гвоздик на память,  
все сучки в половицах,  
что скрипят под ногами...

Мать оставила спицы  
и всплеснула руками:  
— Чуло сердце-то, чуло!  
Вспоминала весь вечер.—  
И немножко всплакнула:  
— Чтó бы выйти навстречу...

Стол для сына накрыла:  
— Ешь! — И села напротив...  
Было все это, было,  
да прошло — не воротишь.

...Спит, мурлыкая, кошка,  
стонут жалобно сени.  
Мать сидит у окошка,  
положив на колени  
безучастные руки,  
смотрит молча куда-то...  
Так молчат в час разлуки,  
примирившись с утратой.

Оставляешь ее ты,  
одинокую, дома.  
Подходящей работы  
для тебя, молодого,  
не сыскалось в артели...  
Все не так тут, как надо:  
и дома постарели,  
и ужались посадки...

И совсем не радест  
предколхоза Гордеев  
о делах... А она-то  
всё мечтала, надеясь  
на тебя, на солдата.

— Ты б, Степан, молодуху  
в дом привел,— говорила.—  
Всё бы помощь старухе,  
всё бы легче мне было.  
Поработали б честно,  
завели бы корову.  
Всё бы стало на место,  
жили б сыты, здоровы.  
Я сама еще тоже  
не бежала б от дела:  
помогала бы все же,  
на печи не сидела.  
Внуков нянчила б...  
Словом,  
не была бы чужая...

Но уходишь ты снова  
из родимого края.

Сени охнули глухо.  
Отсчитал три ступени,  
и — в метель-завируху,  
и — в сугроб по колени.  
Оглянувшись, немножко  
прошагав по деревне:  
мать стоит у окошка,  
мнет в ладонях передник.  
Не видать, с сожаленьем  
смотрит или с укором?  
Ах! — и в снег по колени,  
и пропал за забором.  
До свидания, хаты!..  
А метелица в спину:  
«Стой, Степанко, куда ты?  
На кого дом покинул?  
Не вернешься обратно —  
мелом выбелю кожу,

положу на лопатки,  
замету, заморожу...»  
Белой гривой играя,  
воет, путает ноги.

Завируха какая.  
Ни пути, ни дороги.  
Снег по пояс деревьям  
и стогам по макушку.  
Дальше, дальше деревня,  
ближе леса опушка.  
Нетяжелая ноша  
у тебя за плечами:  
сапоги, да калоши,  
да мешок с сухарями,  
да рубахи две колом —  
те, что осенью справил.

Все забрал ты из дома,  
только душу оставил.  
Разве взять ее можно?!  
Приросла, прикипела  
к этим далям дорожным,  
к этим зорям несмелым,  
к этим рощам сорочьим  
да озерам заветным,  
приросла она прочно,  
словно к дереву ветка.

И куда б ни ушел ты,  
будет все тебе сниться  
луг ромашковый желтый,  
лен в цвету да пшеница.  
И заманчивый город,  
тот, куда тебя тянет,  
домом станет не скоро  
или вовсе не станет.  
Будешь ты у буфетов  
пиво пить городское,  
деревенское лето  
вспоминая с тоскою.  
И, сухие мозоли  
на руках ковыряя,

вспомнишь скирды на поле  
заозерного края,  
вспомнишь волн перекаты,  
спор гармоник задорных...

Так куда же, куда ты  
так стремишься упорно?  
Только счастьем павстречу  
так, пожалуй, стремятся...

Как потухшие свечи,  
сосны снегом дымятся.  
И кружится, кружится  
вихрь, следы засыпая.  
А тебе сослуживцы  
вновь приходят на память.  
Два дружка из Рязани  
с голубыми глазами  
да еще непреклонный  
старшина с орденами...

Не был первым во взводе  
ты, сказать откровенно,  
но не хныкал в походе,  
если грязь по колено.  
Шел упрямой походкой,  
от жары полуденной  
прикрываясь пилоткой,  
потной и пропыленной.  
Метко бил из винтовки...  
И могли сослуживцы  
в боевой обстановке  
на тебя положиться.  
А сейчас? Где-то рядом  
слышишь их голоса ты.  
Но не рады, не рады  
встрече этой солдаты.  
Подошли, окружили,  
правду горькую кроя:  
«Значит, бросил, служивый,  
деревеньку без боя?  
Отступашь, вобравши  
робко голову в плечи?

Струсил, стало быть? Страшно?  
Ищешь — где бы полегче?  
Зря с тобой мы дружили!..»

Не пуская из круга:  
«Струсил, струсил, служивый! —  
свищет во поле вьюга.—  
Струсил!» — воет, озлобясь...

— Стой! Куда тебя, черта! —  
Глянул: сзади в оглоблях  
лошадипая морда.  
Встал, сутулясь, в сторонку.  
А с передней подводы  
звонкий голос: — Девчонки!  
Я нашла пешехода! —  
А девчата со смехом:  
— Молодого?  
— С усами.  
— Что ж, усы не помеха,  
забирай его в сани!  
— Мне-то что! Пусть садится:  
места много, не жалко...—  
В рыжей шубе возница,  
в шерстяном полушалке.  
Что ей люта стужа,  
что ей ветры сквозные!  
Нос курносый наружу  
да глаза озорные.  
Смотрит, варежкой теплой  
прикрываясь от ветра:  
— Ой, да кто это? Степа?  
— Я... Здорово, соседка.  
Не узнала солдата? —  
улыбнулся устало.  
— Да садись же! Девчата,  
это Степа Завьялов!

Прибежали гурьбою,  
рады девушки встрече.  
Сели рядом с тобою,  
навалились на плечи  
и пошли тараторить:

мол, живем не богато,  
да не в том наше горе —  
женихов маловато.  
Разбежались по свету...  
Мол, в звене молодежном  
ни единого нету —  
просто жить невозможно!  
На гулянье и в поле —  
все одни, не до смеха.  
Ты, Степанко, бы, что ли,  
в наш колхоз переехал.  
Мы б тебя счетоводом —  
знай костяшками брякай.

— Но куда ж вас, однако,  
понесло на подводах  
по такому морозу?  
— Как куда? Удобренья  
мы со склада вывозим  
через вашу деревню.  
Председатель Евсеев  
нас гоняет не даром:  
льна, Степанко, посеем  
нынче сорок гектаров.  
— Сорок!  
— Да! И докажем  
нашу хватку народу!  
Ну, а ты-то куда же  
держишь путь в непогоду?

Вздрыгнул — будто колючий  
снег скатился за ворот,  
будто пулею жгучей  
шанку сбило: — Я? В город...  
— А когда же обратно?  
— Видно будет... У брата  
побываю...  
— Понятно.—  
И замолкли девчата.  
А одна не стерпела:  
— Что ж, счастливой дороги!  
Мало ль в городе дела...  
Брату кланяйся в ноги.

Может, где и пристроит.  
Ну, хотя бы завскладом.  
Для такого «героя»  
лучше места не надо!  
На ночь запер ворота —  
и гуляй без заботы.  
— Нам бы где ни работать,  
лишь бы впрямь не работать,—  
пошутил ты несмело.  
И добавил, краснея: —  
Ну какое вам дело,  
как устроюсь и где я?!  
— За тебя нам обидно,  
Степа! — крикнула Ира.—  
Плохи были, как видно,  
у тебя командиры.

— Вот что, Ирка, довольно!  
Командиров не трогай!  
Мне без этого больно...  
Слышишь? — бросил ты строго.

— Что ж, молчу, если падо,—  
тихо Ира сказала.  
И до самого склада  
больше губ не разжала.

И когда ты, котомку  
перебросив на спину,  
попрощался негромко  
и подводу покинул,  
вихрь, бродяга бездомный,  
с ревом бросаешь навстречу,  
будто старый знакомый,  
грубо обнял за плечи.  
И с тобою в обнимку  
потавился тропинкой,  
шелестя тебе в уши,  
леденя тебе душу...

1954



## В КЛУБЕ РЫБАКОВ

Стулья к степам сдвинуты,  
полушубки скинуты.  
Гармонист — ему привычно —  
взял гармонь и безразлично  
тронул верхние лады.  
Чтобы меньше было пыли,  
дверь девчата приоткрыли,  
на пол брызнули воды.  
Сбились в стайку.  
На ребят  
украдкой озираются...  
А ребята не спешат,  
как всегда,  
ломаются...  
— Как вам, мальчики, не стыдно? —  
им девчата. — Надо, видно,  
нам, подружки, начинать.  
Что тут у моря погоды  
ждать?! Приезжему народу  
надо ж моду показать!

И пошла серединою  
та, что звали Ниною.  
Гармонист —  
из шапки выпал  
чуб — ей под ноги рассыпал  
дробь, вовсю стараться стал.  
И повел мотив заветный,  
будто коврик многоцветный  
перед нею разостлал.  
Поплыла вперед как пава,  
глядит влево, глядит вправо,  
невзначай платком взмахнет...  
Каблуки с гармошкой спорят:  
и не хочешь — раззадорят,  
растревожат так, что — вот!..

— Эх, озеро ли, море ли? —  
две старухи спорили.

А вам, рыбакам,—  
лужа по колено!  
Рыбина с ложку,  
говорим — с полено!

Это вышел дед Василий:  
— Попляшу, хоть не просили,  
честь деревни поддержу! —  
Шутит сам: — Хоть стар, да прыткий!..  
На тебя давно я, рыбка,  
сети новые вяжу!

Парни деду:  
— Неужели?  
Не поймать — уйдет из рук...—  
Ну а Нина в самом деле  
словно рыбка, вкрут да вкрут.  
То налево проплывет,  
то направо повернет.  
Каблуками выступит,  
будто строчку выстрочит.  
— Дед, ломаешься ты зря!  
Брось, вставай на якоря!  
Отдохни чуток!..

И парни  
сами — сами! — вышли в круг,  
встали парой против пары,  
взяли за руки подруг.

И взметнулся вихрь — знакомый им!  
В дрожь — и пол и потолок!  
Рядом с яловым, подкованным,—  
резиновый сапог.  
— А чего не видно ваших?  
Может, ваши лучше пляшут?  
Или нету плясунов?  
— Это где же нету? В Ванках?  
Н-ну, гляди! — и в пол фуражку.—  
Дай-ка нашу, Веселов!

Топнул — ворот нараспашку,  
руки в стороны... Пошел!  
— Вот как в Вашках!  
Вот как в Вашках!  
— Хо-ро-шо!

1954

\* \* \*

Начать бы так стихотворенье:  
«Я помню чудное мгновенье...»  
Но было все совсем не так.

В окопе, перед наступленьем,  
курили молча мы табак.  
Час оставался до сраженья.  
А там (на то она — война!)  
кого-то спишет со снабженья  
навечно ротный старшина.

Но не об этом, не об этом  
все ж думал я...  
Меня ждала  
в краю, где тихие рассветы,  
девчонка нашего села.  
Хорошие слова сказала  
мне на прощание она...

Вставал рассвет. Грозь обвалом,  
плыла над фронтом тишина.  
Часы показывали восемь.  
Шепча проклятия врагу,  
в окоп свалился письмоносец  
с тяжелой сумкой на боку.  
Конверт мне сунув:

— Не иначе  
как от нее опять,— сказал.  
«Любимый мой!» — смеясь и плача,  
я в первой строчке прочитал.

По вот за дымным лесом где-то  
проснулся гневный бог войны,  
и в небо красная ракета  
взлетела с нашей стороны.  
Взлетела медленно, тревожно...

Я падал и вставал опять...  
Я верил: счастье невозможно  
из тысяч пушек расстрелять!  
А пули пели. Мимо, мимо!..  
И мины падали в траву.  
Я знал, что мне необходимо  
дожить, и верил: доживу!

...Так день за днем...  
В огне и дыме  
прошла зима, потом весна...  
Все ж опоздал я... Ты прости мне:  
четыре года шла война.

Где ты теперь? Кто мне расскажет?  
А впрочем, это все равно:  
я позабыл тебя. И даже  
все письма сжег давным-давно.  
Забыл. Пришла пора иная...  
Но я себе напрасно лгу:  
я, о тебе не вспоминая,  
о прошлом думать не могу.  
Ведь ты со мною в дни ненастья  
была на линии огня...  
А это... это было счастьем,  
по крайней мере для меня.

1955

## ЧЕРЕМУХА

Г. В.

В ветвях черемухи высокой  
ленивый бродит ветерок.  
Соцветья пахнут вешним соком,  
но не цветут: не вышел срок.

А солнце выглянет немножко,  
и на черемухе, легки,  
расправив белые ладошки,  
песмело вспыхнут лепестки.  
Один расколется бубенчик,  
другой снежипкой зацветет...

Но климат здешний переменчив.  
Вдруг столбик ртутный упадет,  
потянет сыростью с болота,  
гром прогудит над головой...

И в грудь черемухи с разлета  
ударит ветер верховой.  
Ударит, скомкает, закружит,  
дождем холодным обольет.  
А поглядишь — она на стуже  
еще неистовей цветет!

Она цветет, не гнется книзу,  
а спорит с ветром в высоте.  
Цветет, упрямая, как вызов  
оранжерейной красоте!

1955

## ВСТРЕЧА В ПОЛЕ

*(Рассказ девушки-колхозницы)*

День на редкость был хорош.  
У дороги, с речкой рядом,  
Наша девичья бригада  
Молотила в поле рожь.  
Я стояла на скирде,  
Как всегда, снопы бросала.  
Слышу, песня зазвучала  
Где-то рядышком. Но где?  
Видел луг. За ним — река.  
За рекою — три стожка...  
Вдруг гляжу: выходит песня  
Из-за ближнего леса.

И, ладонь сложив трубой,  
Закричала я:  
— Солдаты! —  
А девчата снизу:  
— Сваты?  
Неужели за тобой? —  
Мы, скажу вам наперед,  
На чертей похожи были:  
Всем известно, сколько пыли  
На току — как выюга вьет...  
Только было принялись  
Приводить себя в порядок,  
А уж песня льется рядом,  
Хоть сквозь землю провались!  
Бригадирша говорит:  
— А покажем-ка пехоте,  
Каковы мы есть в работе.  
Наплевать на внешний вид!  
— Верно. Мы сюда не петь  
Собрались,— добавил кто-то.

И пошла у нас работа —  
Любо-дорого глядеть!  
Пыль столбом! Снопья летят  
Сверху прямо к барабану...  
Неужель бойцы не глянут?  
Неужель не постоят?

Командир хоть ростом мал,  
Но зато, видать, удал.  
Встал лицом к своим солдатам  
— Стой! — скомандовал.— Привал!  
Далеко ли тут село?  
— Пять, не больше, километров...  
Знать, сюда попутным ветром  
Вас, ребята, занесло? —  
Говорят:  
— Наш путь прямой.  
Мы по ходим стороной.  
Отстрелялись на «отлично»,  
Возвращаемся домой! —  
И, взглянув на нас в упор,  
Старшина всерьез заметил:

— Лучше девушек на свете  
Я не видел до сих пор!

Мы сгораям от стыда,  
А они стоят и судят:  
— Вот где мы жениться будем!  
Кончим службу — и сюда!  
— Приезжайте — подождем.  
Встретим — весточку подайте...  
Только на сторону, знайте,  
Мы невест не выдаем.—  
Отвечают:  
— Не беда.  
Не отпустите — не надо:  
Мы в колхозе вашем рады  
Поселиться навсегда.—  
Бригадирша: — Вон как вы...  
Примем, что ли, их, девчата?  
— Можно б: славные ребята,  
Да работать каковы? —  
Командир мигнул: — А ну,  
Покажи себя, пехота!

И взялись за работу,  
Будто начали войну.  
Молотилка сразу в дрожь.  
Видно, вспомнили солдаты,  
Как в родных полях когда-то  
Молотили дружно рожь,  
Как по утренней росе  
Выходили на покосы...  
— Хватит! Есть еще вопросы? —  
Мы сказали: — Нету... все.—  
Парни были на подбор!  
Встали в строй, расправив плечи,  
И пошли...  
— До скорой встречи!  
Не забудьте уговор!..

1956

## ЖЕЛАННЫЕ ОГОНЬКИ

Дом бревенчатый у реки,  
в окнах яркие огоньки.  
Далеко их видать почками:  
будто звездочек хоровод,  
будто к берегу тут причалил  
заблудившийся пароход.

Речка выгнулась здесь колесом,  
к югу делая поворот.  
Водопад сотрясает стены.  
Белоснежные хлопья пены  
крутит-вертит водоворот.  
Брызги мечутся...

А в окошко,  
что распахнуто на село,  
целый вечер звенит гармошка...,

Месяц выставил в небе рожки.  
Встал над поймой туман:  
бело...  
Воздух пахнет, как пахнут соты...

И не тягостно за работой  
в ночь такую встретить рассвет...  
Ну а если тебе всего-то  
только двадцать неполных лет?  
И у клуба твоя девчушка  
под гармоники перебор  
целый вечер пост частушки,  
гармониста вводя в задор?

Ну какой же интерес  
любить тебя, механик ГЭС?



Если б сердце не болело —  
отказала б наотрез!  
А гармошка вовсю мехами  
полыхает пред нею: пой!  
Ах, Поливка, ну чем механик  
провинился перед тобой?!  
Зря ты все-таки про измену...  
Только в том лишь его вина,  
что дежурит в ночную смену...  
Ну так ты ж понимать должна!  
Гидростанция все ж... А впрочем,  
это ясно тебе самой.

И когда ты с гулянки, ночью,  
через поле пойдешь домой,  
лампы-звездочки вдоль тропинки  
он зажжет на твоём пути,  
чтоб могла ты легко, Поливка,  
через лужицы по тесинкам  
в туфлях-лодочках перейти.  
Как светло в нашем крае стало —  
ты взгляни-ка! Но что слова!  
Ей, Полинке, и дела мало  
до того. И она права.  
Пляшет. Ветер концы косынки  
рвет из жаркой ее руки.  
И смеются в глазах Полинки  
ГЭС желанные огоньки!

## ГЛАВЫ ИЗ ПОЭМЫ «ГАЛИНКИНО ЛЕТО»

### 1. ЛАСТОЧКИ У ОКНА

Утром будит Галинку мать:  
— Время, дочка!..— Она ни слова.  
Приподыметса чуть — и спова  
В сон: не хочется ей вставать.  
Мать к приемнику: пусть поет.  
А Галинка даже не слышит,  
Как, почти задевая крыши,  
Пролетел, гудя, самолет,  
Как петух кричит па дворе,  
Как с мычаньем проходит стадо...  
Ах ты девичий сон-услада  
В пору летнюю на заре!  
Сутки, кажется, бы спала  
Беспробудно Галинка-Галка...  
Мать ворчит. А посмотрит — жалко:  
И сама ведь такой была.  
Призадумается она  
И немножко взгрустнет некстати...

Пляшут зайчики па кровати,  
Вьются ласточки у окна.  
Ястреб чертит за кругом круг  
Над простором полей зеленых...

Вспомнит юность свою Алена,  
И покажется старой вдруг,  
Что как будто бы перед ней  
Не Галинка, а та девчонка,  
Что когда-то звалась Аленкой —  
Только та была посмуглей, —  
И что надо скорей вставать  
Той девчонке простоволосой  
И идти по тропинке росной  
За деревню полоску жать.  
Будет солнце палить весь день,  
Будет ныть спина в пояснице...  
Ветер, что ль, повеял бы жпице,  
Туча бросила б, что ли, тень...

Поработала на веку  
Ты, Алена, побушевала.  
Как возьмешься за что, бывало, —  
Не уступишь и мужику.  
Глянешь — день уже догорел...  
Пот смахнув, по тропе знакомой  
Прибежишь ты домой, а дома  
Куча бабьих извечных дел.  
Помнит жар твоих щедрых рук  
Пядь любая земли колхозной...  
Пожалеть бы себя, да поздно,  
Да, признаться, и недосуг.  
Убывают твои года —  
Ветер их разметал по полю...

Но Галинке иную долю  
Ты загадывала всегда.  
Берегла ее и давно,  
Не таясь, об одном мечтала,  
Чтобы докторшей дочка стала  
Иль учительшей — все равно.  
Чтоб она в городах жила  
(«Нынче все уезжают в город»),  
А не в доме родном, в котором  
В муках ты ее родила.  
Сколько раз ты внушала ей  
Мысли эти... Но все напрасно:

Край заречный — теперь уж ясно —  
Все же дочке твоей милей!  
Слов твоих не взяла в расчет.  
Курсы кончив, Галипка к делу  
Не пристала, а прикипела —  
Кровь-то в жилах твоя течет!

И теперь уж, когда кругом  
Все в цветенье, ты даже рада,  
Что не в городе дочь, а рядом,  
И печалишься о другом.  
Проводив ее до дверей,  
Постоишь в раздумье минуту:  
И родня, мол, комбайн серпу-то,  
Да куда как его хитрей!

Раньше выйдет жней в поля —  
Вся машина в ладонь зажата.  
Просто с таким агрегатом:  
Ни колес тебе, ни руля.  
И не важно, что впереди —  
Камень, топкое место, круча...

А в комбайне железа куча,  
Что к чему, разберись поди.  
Долго ль что-нибудь поломать!  
Не машина — одна забота..  
Правда, если начнет работать,  
Лучше нечего и желать.  
Пыль, да след колес на стерне,  
Да соломы помятой горки...

...Ветер тихо колышет шторы,  
Пляшут зайчики на стене.  
Из чулана отец, кряхтя,  
Входит в избу, дымит махоркой:  
— Тю!.. А что это... комбайнерка?  
Спит никак еще? Вот дитя! —  
Сам смеется: — Учись-ка, мать,  
Как будить ее... Слышь, Галина!  
Говорят, у тебя машину  
Собираются отобрать...

— Кто?! — И не было будто сна.  
Ноги на пол спустив с кровати: —  
Кто такое посмел сказать вам? —  
Хмурясь спрашивает она. —  
Пусть попробуют!.. Вот еще!  
Не отдам! И не смейся, мама... —  
Встала, губы поджав упрямо,  
Бросив косу через плечо.

1956

## 2. В ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

У ровесников Тараса  
Биография проста.

Сам же он — не то что «масса»,  
Сам Кузьмич с седьмого класса  
На ответственных постах.  
Он почтовым отделением  
Года три руководил.  
А потом, до укрупнения,  
В председателях ходил.  
После в стенах сельсовета  
Службу правил, убежден,  
Что рожден для кабинета,  
Для стола и стула он.

А позднее, в решениях скорый,  
Все разведав наперед,  
Он с семьей подался в город:  
Что село — масштаб не тот!  
Там Тарас осел в артели,  
Занял личный кабинет  
И, казалось, был при деле,  
А сказать по правде — нет...  
Не в гостях, да и не дома...  
Но Кузьмич не унывал!  
Председатель исполкома  
Раз его к себе позвал  
И без лишних проволок  
Заявил (пропал Тарас!):  
— Люди знающие очень  
На селе нужны сейчас.  
Мол, тебе ли здесь работать,  
Киснуть в городе тебе ль?..—  
И Тарас, хоть без охоты,  
Заявление патриота  
Написал — и слег в постель.  
А оправился немного,  
Вдрызг поспорил с женой  
И знакомою дорогой  
Укатил в колхоз родной.

...Собираясь дела гору  
С места сдвинуть, новый пред  
Сразу местную контору

Переделал в кабинет.  
И чего в нем только нету!  
Сейф стальной, ведро с водой,  
Этажерка, семь портретов,  
Стул и стол немолодой.  
Возле счетов, полутемный  
Украшая кабинет,  
На столе молчит приемник  
Не припомнишь сколько лет.  
Было б чудом настоящим,  
Не поверили б вокруг,  
Если б этот пыльный ящик  
Вдруг издал какой-то звук...  
На доске, прибитой к стенке,  
Популярные тома:  
Тут и Вильямс, и Лысенко...  
А брошюр — без счету... Тьма!  
На сокровища на эти  
Поглядишь и скажешь так:  
«Видно, в этом кабинете  
Без науки ни на шаг».  
Но «наука» у Тараса  
Деревенская, своя:  
Сей озимые со Спаса,  
А коси с Петрова дня.  
А с Егория скотипу  
Выпускай — чего мудрить?!  
А к Илье готовь овины:  
Можно жать и молотить...

Но заметим, в пору лета,  
Кроме прочих всех, одна  
Есть особая примета  
У Тараса. Вот она:  
«Заварили бабы бражку —  
Значит, жать пора как раз».  
Ходит —  
                        ворот нараспашку —  
По селу тогда Тарас.  
В дом войдет, а там застолье.  
— Почему не вышли в поле?  
Жать ведь падо! — строго скажет,

По столу стуча перстом.  
Погрозится штрафом даже —  
Даже штрафом! А потом  
Стопку,

    злой и недовольный,  
Кверху дном перевернет,  
Огурец свежеспросольный  
Торопливо кинет в рот —  
И за двери...  
У Тараса,  
Почитай, кругом родня:  
Коль у каждого по часу  
Посидеть — не хватит дня.  
Так бывало...

    Но сегодня,  
Лишь вошел в контору он,  
Глухо, как из преисподней,  
Голос подал телефон.  
Поразмысливши немного,  
Трубку снял Тарас, и вот:  
— Жив, Кузьмич?  
— Да слава богу...  
— Как уборка?  
— Да идет...  
— Нажимай, Кузьмич, покуда  
Дни погожие стоят.  
Проворонишь — будет худо...  
Кстати, правду ль говорят,  
Что у вас к престолу снова  
Брагу варят?

— Не слыхал.  
Я колхозникам такого  
Указания не давал.  
— Не давал... Шутить изволишь?  
Что ж, шути... Но знай, Тарас,  
На уборке дорог час!  
Вся ли техника на поле?  
Как там Тюкина у вас?  
— Да как будто привыкает...  
Каждый день, пожалуй, с ней  
Спору...

    — Да, она такая!  
Впрочем, тут тебе видней.

До свиданья!  
— Вот дотошный!..  
Что, да как, да почему?..—  
Сел Кузьмич возле окошка  
Задом к трону своему.  
Улицу окинув взглядом,  
Закурил, свернул кисет  
И сказал: — Пойду в бригады.  
Если спросят — дома нет...

...Чисто выбритый, Тарас  
По селу идет, бодрясь.  
Смотрит в землю: неуютно  
На душе его сейчас.

Знают все, его не часто  
Совесьть мучает, но вот  
Привязалась вдруг — и баста,  
Прямо ходу не дает!  
«Не о том, Тарас, забота  
У тебя, — гудит ему. —  
Вижу я, тебе охота  
Праздник справить самому». —  
«Вот придумала, — печально  
Возражает он. — Смешпо...»  
Только совесть — не начальник,  
Не обманешь все равно.  
«Пить-гулять сегодня то есть,  
Видит бог, я не хотел». —  
«А рубаху, — шепчет совесть, —  
Все же новую надел?  
Не хотел, а в бане все же  
О бок веник истрепал?  
На тебя взглянуть — похоже,  
Что собрался ты на бал.  
А ведь ты глава колхоза,  
Человек передовой...»

Что ни слово — то заноза  
В сердце самое, хоть вой!



«Мыться в бане тоже надо...»  
Ну а совесть: «Так-то так...»  
...Вот идет он вдоль посада,  
Как начищенный пятак.  
Вережит в траве кузнечик,  
Солнце светит, как в Крыму.  
Малыши одни навстречу  
Попадаются ему.  
И нигде не слышно шума  
Из открытого окна...  
Лишь одна избенка кума  
Распьяным стоит пьяна.  
Понял с первого же взгляда,  
Что в гостях у куманька  
«Диких» плотников бригада  
Да зятек из городка.  
— Заверни! — кричит в окошко  
Кум Тарасу. — Покури...—  
А в избе скрипит гармошка  
«Отвори да затвори»,  
Кто-то пляшет, не иначе,  
Кто-то песню про камыш  
Затянул...

— Не хочешь, значит?  
Жать бы надо, говоришь?  
Грех, Тарас, работать в праздник,  
А в престольный — грех вдвойне! —  
И, уверен в том вполне,  
Кум поет о том, как Разин  
Плыл с княжною на челне.

И решает председатель:  
«Так и быть!..» И входит в дом.  
И садится председатель  
В красный угол за столом.  
— Эх ты, слабость человечья!  
И за что ты нам дана?..  
— Брось, Кузьмич, пустые речи!  
Поднимай да пей до дна.  
— Пей! — И вот уже раскосо  
У него глядят зрачки.  
— Пей! — И вот уж все вопросы  
Для Тараса — пустяки.

— Рожь-то жать бы надо, братцы,—  
Говорит.—  
Ну а толком разобраться —  
Не горит.  
Уберем, была бы осень  
Без дождей.  
Нет — так помощи попросим  
У людей.

Пусть приедут шефы... Нужно ж,  
Так сказать,  
Нам с рабочим классом дружбу  
Укреплять!  
А в особенности летом  
И весной...  
Нет, не грех за дружбу эту  
По одной!  
Отвались, душа, в сторонку —  
Окачу!..

Рукоплещут гости звонко  
Кузьмичу.

...Дверь открыла и в пьяный гам  
Ворвалася Галинка дерзко.  
В окнах вздыбились занавески,  
Лучик солнца упал к ногам.  
Будто совесть сама,  
Она  
Встала молча перед Тарасом.  
И заполнила избу разом  
Виноватая тишина.

И не выдержал Тарас,  
Улыбнулся через силу:  
— Ну чего, скажи на милость,  
На меня ты палишь глаз?  
Что?.. Пьяны мы? Да, пьяны!!  
Потому что так хотели...

Потому что и в артели  
Выходные быть должны.  
А что праздник — извини...  
Тут уж с краю наша хата!  
Тут, брат, предки виноваты!!  
Предков ты и критикни...

— Предки что!.. Не в них беда.  
За тебя, Кузьмич, нам стыдно...  
И еще за тех обидно,  
Кто тебя послал сюда.  
Обманул ты их, Тарас!

— Ошибаешься, невеста.  
Руководство, как известно,  
Коллективное у нас!  
Кто хозяин здесь? Народ!  
Кто вершитель дел? Правленье!

...Кум глядел Тарасу в рот  
С удивленьем...

1956

## НА РОДИНЕ

Гумна. Мельницы. Школа. Стоп! Приехали, слазь!  
И замолкла машина, как струна сорвалась.  
Я бросаюсь на землю, надеваю рюкзак  
и иду мимо школы и гляжу — просто так —  
на кобылу гнедую у сельповских ворот,  
ту, что розовый клевер аппетитно жует.  
На девчонку-подростка с мокрой лейкой меж гряд,  
в жарком пламени маков с головы и до пят.  
Я машу ей рукою и чему-то смеюсь.  
Я, наверно, девчонке очень странным кажусь.  
Ну и пусть! Все равно ведь мне себя не унять.  
Что в душе моей — где же ей, зеленой, понять?  
Сердце рвется на части — только гляну окрест.  
Слева — травы и небо, справа — небо и лес.  
Я один перед ними... Облака в вышине.  
Я кричу: — Признаешь ли, край мой, сына во мне? —  
И в ответ прошумели сосны, встав во весь рост  
над моей головою: «Ты достаточно ль прост?»  
И сказали мне травы, и спросили цветы:  
«Ты душой не кривил ли? Прямо достаточно ль ты?»  
И дорога, что в детство приглашала войти,  
прогудела с тревогой: «Ты не сбился ль с пути?»  
Что сказать мне, ответить? — Край мой отчий, гляди:  
вот я весь пред тобою, принимай иль суди!  
Я не холен, не нежен, и не ведом мне страх.  
Мой характер настоян на суровых ветрах.  
Кровь замешена гулом родников и ключей...  
Твой я помыслом каждым! А не твой — так ничей!  
Что б тебе ни грозило — я, твой сын, на посту.  
Только в сердце с тобою я живу и цвету!

1956

## ЧТО ТЫ РВЕШЬ СВОЮ ГАРМОНЬ...

Не горят былым огнем  
мои очи синие.  
Без тебя мне с каждым днем  
жить невыносимее.

Дрогнув где-нибудь басы —  
гляну из окошка я:  
по тропе, через овсы,  
ты идешь с гармошкой.

Грудь открыта, горяча.  
Кепка набок съехала...  
От плеча и до плеча  
гнется синемехая.

И поют, поют, звеня,  
голоса-бубенчики...  
Что изводишь ты меня,  
ветер персмерчивый?

Что ты рвешь свою гармонию  
до зари, отчаянный?!  
Лучше шел бы ты домой,  
сердце не печалил мне.

Лучше б молча на ремпе  
пес гармонию усталую,  
чтоб она не пела мне  
про любовь про старую.

1956

## КАК НЕМНОГО СЕРДЦУ НАДО...

Как немного сердцу надо!  
Ничего не говорил,  
только сел со мною рядом,  
только сел и закурил.

Закурил, вздохнул глубоко,  
а не высказал — о чем?..

Только раз плечом широким  
за мое задел плечо.

Вот и все... Кружились пары.  
Тополь вздрагивал, высок.  
И дымил и сыпал парень  
искры желтые в песок.

Много раз ложились росы  
с той поры на берегу.  
Но дымок от папиросы  
все забыть я не могу.

Все мне снится мой желанный!  
Ах, зачем,— клянчу его,—  
закурил оп, бесталанный,  
возле сердца моего?!

Для чего он сыпал ворох  
желтых искр?..Ему ль не знать,  
что девичье сердце — порох,  
что огня не миновать!

1956

# 1957

## ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ДАЙ ОТВЕТ!

(Песня)

Всем известно:  
В нашем поле испокон  
Повсеместно  
Хорошо родился лен.  
А теперь же  
В нашем полюшке трава —  
Лен и реже,  
Лен и ниже раза в два.

Уж три года  
Нет дохода ото льна,  
Нет дохода,  
А в правленье тишина.  
Неужели,  
Неужели мужики  
В самом деле  
Проглотили языки?!

Будто в клетке  
Заперлись — и ни гугу...  
Эй, соседки,  
Собирайтесь на лугу!  
Наболело  
На душе — терпенья нет!..  
В чем же дело? —  
Председатель, дай ответ.

Или хуже  
Понимать мы стали лен?  
Иль не нужен  
Для колхоза миллион?  
Долго ль будем  
Робко пятиться назад?  
Разве люди  
Жить богаче не хотят?!

Для того ли  
Удостоен ты поста,  
Чтобы в поле  
Зимовала льнотреста?!  
Будет лучше,  
Коль не станешь ты дремать,  
Нет — так пуще  
Мы начнем критиковать!..

1957

## ПЕСНИ В СТАРОМ ДОМЕ

*А. И. Сушинову*

Вот и укатали сивку горки...  
Борода седа, туманен взор.  
Будто бы и не был он Егоркой,  
будто вечно старым был Егор.  
Кто теперь он? Дряхлая осина:  
и стоит еще, а не живет...

Выхлопотал пенсию за сына,  
что пропал без вести в грозный год.  
И за то спасибо добрым людям...  
«Отдыхай!» — твердят и стар и мал.  
Отдыхай... Но как он, отдых, труден  
для того, кто век его не знал.

Поутру дровишек для сугрева  
выйдет нарубить себе Егор,  
постоит, топор сжимая в левой,  
правою крестясь на косогор,  
в сторону, где белая когда-то  
церковка гудела на юру...  
Хлебных крошек вынесет цыплятам,  
раз-другой пройдет по двору —  
нету дела! Скучно, одиноко...  
Сядет на скамейку у крыльца.  
— Не гони кобылу-то без проку! —  
Крикнет на иного сорванца.



Пробегут девчата мимо — спросит:  
— Лен-то весь посеяли аль нет?..—  
И опять тоскует... Не выносит  
горького неведения дед.  
Забредет в колхозную контору,  
посидит, покурит — и назад:  
счетоводам не до разговоров,  
счетоводы мало говорят,  
не с кем побеседовать Егору!..  
Оттого не в радость ни цветы,  
ни теплынь ему...  
Но в эту пору  
повидаться с ним из Воркуты  
дочь явилась. И не ждал, не ведал!  
Чемодан взвалила на скамью  
и достала гнутую для деда  
трубку, чтобы помнил дочь свою...  
Чтоб не тосковал, как прежде, старый,  
чтобы не торчал в конторе он,  
привезла она еще в подарок  
бабке ящик песен — патефон.

Знал давно Егор об этой штуке,  
слыхивал не раз в чужом окне.  
Но чтоб так вот в собственные руки  
песню взять — не снилось и во сне!

...Дочка подняла проворно крышку,  
завела «Рябину»... И когда  
песня смолкла, он сказал чуть слышно:  
— Ишь ты! — И потом негромко: — Да...—  
И ни звука не прибавил кроме:  
что-то с места стронулось в груди...

А через неделю в старом доме  
вновь остался дед Егор один.  
Утром, молока отпив из кринки,  
как колдун, садился он к окну,  
и крутились черные пластинки  
в знак повиновения колдуну.  
«Степь да степь кругом...»  
А перед взором,  
где-то там, за песней, вдалеке,

оживала молодость Егора  
в старом домотканом армяке.  
Вспоминалась сивая кобылка,  
зимний, лесом, путь до городка,  
жирная хозяйская ухмылка  
Жабина Алехи-кулака.  
Он ли не старался для Алехи!..  
Да однажды — господи, прости! —  
в клуню, конопаченную мохом,  
ночью петуха таки пустил.

До рассвета, страхом обуяна,  
в темноте заветного крыльца  
убивалась лада Маремьяна  
на плече упрямом молодца.  
«Вызывают, Егорушка, засудят!..»

Не узнали. Пронесло беду...  
Только чаще с этой ночи люди  
кланялись Егору на ходу!

...А потом заречные поляны  
видели нередко их вдвоем.  
Мыли росы косы Маремьяны,  
соловьи не спали для нее.  
А однажды под березкой белой  
засиделись досветла они...

«Распрямись ты, рожь!.. —  
пластинка пела, —  
тайну свято сохрани!»

Рожь! Она, бывало, по угору  
встанет — колос к колосу — стена!  
До зерна — своя!.. И все ж Егору  
вспоминалась чаще не она.  
Не она, докучная, — другая:  
с жаворонком в небе голубом,  
буйная, высокая, тугая,  
межи захлестнувшая кругом.

И Марюта вспоминалась чаще  
на колхозной, общей полосе...

Жатва бабам — праздник настоящий:  
выйдут утром, вырядятся все,  
запоют... Была Егора женка  
первою певуньей на весь край.  
На дожинках люди крикнут звонко:  
— Ну-ка, Маремьяна, запевай!

И она, взглянув кругом песмело,  
в кофточке, по-девичьи пряма,  
пела так, что... Нет, она не пела —  
становилась песнею сама!  
«В низенькой светелке» — выводила...  
Хоть давно по-новому жила,  
песни все же старые любила:  
в девках их еще переняла.  
Пела про любовь и про измену,  
про лихую долю... В те года  
знала и себе Марюта цену,  
а гордилась мужем навсегда.

И не зря: Егор трудился честно,  
в доме был достаток и уют  
(песни мрут от голода, известно,  
песни в светлых горницах живут!).  
Рядовым работником и властью  
был Егор — вчера еще батрак...  
Думалось, конца не будет счастью,  
а на деле вышло все не так.

...В знойный полдень, в поле,  
прямо к стогу,  
на буланом взмыленном коне  
прискакал парнишка босоногий  
с вестью о войне.

И померкли солнечные дали...  
И в пыли разбитых большаков  
уж не пели женки — причитали,  
проводжая к фронту мужиков.  
А назавтра жали и косили,  
шли за плугом, утирая пот,  
дочери сражавшейся России,

удивительный народ!  
День и ночь работают, бывало...

И Егор старался, сколько мог.  
Выдюжил — а сердце-то сдавало —  
вынес... Но Марюту не сберег.  
Умирала просто, как с беседы  
уходила... Горестней всего,  
что не дожила до Дня Победы  
труженица вечная его.

...Снова бьет в окно заря румяна.  
Нарядились в лучший свой убор  
лес и та, заречная, поляна...  
И вернись сейчас бы Маремьяпа —  
нет, не удивился бы Егор!

Выдвинул бы стол на середину,  
встрече с ней, как в молодости, рад.  
Для нее «Уральскую рябину»  
прокрутил бы десять раз подряд.  
«Вот, мол, есть какие песни ноне!»  
Ей бы по душе пришлась она...

Музыка гремела в патефоне.  
И вздыхал и плакал старина.  
Был ему и горем и отрадой  
дочерин подарок дорогой.

Ну, а людям... Людям то и надо:  
плохо ль, если песни под рукой.  
Вечером, идя домой с покосов,  
обогнут Егорушкин сарай,  
побросают к огороду косы,  
сядут на завалинку: — Играй! —  
И старик, послушный и спокойный  
открывал все окна в палисад,  
ставил патефон на подоконник  
и играл, что было, все подряд.

Плыли песни... Опускались росы...  
Люди замирали у крыльца...  
И, забыты, гасли папиросы,

и любовью полнились сердца.  
А старик сутулился плечами,  
подперев ладошкой щеку,  
словно сам рассказывал сельчанам,  
что пришлось изведать на веку.

1956 — 1957 гг.

## ВЕСЕЛАЯ РУКА

Ударил сок живительный в оттаявший сучок,  
и лопнул клейкой почечки ядреный кулачок.  
И в небо сине-синее над полою водой  
не лист березка вскинула —  
расправила ладошь,  
с прожилками, зеленую, негромкую пока...  
Ах, до чего у дерева веселая рука!  
Шершавая — не нежена! — зубчатое ребро.  
То щедро сыплет на землю дождинок серебро,  
то сию начнет процеживать,  
то солнечный песок,  
то влепит ветру шалому ладошкой в висок...  
И вся, как откровение, березка на ветру.  
Ее, как друга старого, я за руку беру.  
И, лопоча, с доверием — нам вспомнить есть  
о чем! —  
другую руку дерево кладет мне на плечо.  
Испытывает: крепко ли я на земле стою  
и свой ли я по-прежнему в березовом краю.

1957

## ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ

(Поэма)

*Памяти Федора Ивановича Панферова*

### НЕПОГОЖАЯ НОЧЬ

Полночь.  
Спит широкая тайга,  
в синие укутана снега.  
Па бору, подальше от дороги,  
чтобы не напал никто на след,  
мертвым сном в дымящейся берлоге  
спит медведь — тяжелый домосед.

Под крыло  
бровей попрятав дужки,  
спят в сугробе теплом на опушке  
сном настороженным косачи —  
черные, как угли из печи.

Белка, разуверившись в земле,  
как в высотном доме, спит в дупле.  
Дом скрипит, качается немного,  
и в одно открытое окно  
видно, как плывет своей дорогой  
снежных туч седое волокно.

Угрожая теплым южным странам,  
холодом арктическим дыша,  
вестники надменные бурана —  
тучи проплывают не спеша.

Спряталось, укрылось все живое,  
чтобы непогоду переждать...  
Лишь деревья бурю встретят стоя:  
им не скрыться и не убежать!

Ветер, как наездник дикий, почью  
налетит на них и заревет,  
обважит их головы и в клочья

белые одежды разорвет,  
заморозит голые суставы...

Но случись, не выдержит одно —  
ближнее плечо ему подставит,  
и опять подымется оно,  
и опять бороться с ветром будет,  
и отступит ветер, с толку сбит...

Тучи. Полночь. Спят леса и люди,  
только Анна Павловна не спит.

Разболелись руки к непогоде.  
В таз водицы теплой налила,  
окунула — легче стало вроде,  
потушила лампу и легла.

Сон тревожным был и беспокойным.  
Мышь скреблась на кухне. И со злом  
била выюга в переплет оконный  
белым обмороженным крылом.

Чудилось: мычал теленок будто;  
на крыльце собака грызла кость;  
кто-то плакал...

Ветер перепутал  
явь и сон, спалось и не спалось.

Встала. Спичку чиркнула: далеко  
до рассвета... В горницу прошла.  
Там Лепушка — дочь ее — спала,  
положивши голову на локоть.

Тихо, словно девочку, бывало,  
шубкою укрыла по плечо,  
подоткнула под бок одеяло:  
«Дует как, простудится еще...»  
На стекло седое подышала:  
«Выюга-то какая нынче, жуты!»  
Подвязала туже полушалок:  
«Доберусь,— решила,— как-нибудь».

Шла сгибаясь. Ветер бесноватый  
рвал из рук фонарик слеповатый.  
Тьма качалась. Сапоги тонули.  
И снежинки, жала и горя,  
мчались, как светящиеся пули,  
в неуютном свете фопаря.

Анна терла варежкой щеку,  
голову от ветра наклопя...  
Было жутко, было одиноко  
в этом круге мутного огня.

И совсем не верилось, что где-то,  
кроме этих вздыбленных снегов,  
есть проспекты, залитые светом,  
площади огромных городов  
с множеством реклам, авто блестящих  
(Анна это видела в кино).  
Ветер. Темнота... Но вот маняще  
впереди затеплилось окно.  
Пес залаял где-то очень близко.  
— Шарик, милый! Холодно, поди? —  
И шагнула в дверь сторожки низкой,  
пропустив собаку впереди.

#### НА ДВОРЕ

Сторож подбросил в печурку дров,  
вымолвил: — Грейся как след, Лянтюта! —  
Сказочный домик тепла, уюта,  
словно кораблик, среди снегов.  
Так бы сидеть и сидеть,  
в упор  
глядя на пламя, и слушать ветер,  
и позабыть обо всем на свете...  
Но Анна встает и идет во двор.  
Снегу-то, снегу-то вдоль стены!  
С крышею вровень сугроб дымится,  
словно громада крутой волны,  
готовой обрушиться и разбиться.  
Еле протиснулась: замело  
тропку вчерашнюю и ворота.



А во дворе хорошо, тепло.  
Скинула ватник — и за работу.

Тихо, вполголоса, ей вослед,  
словно боясь разбудить соседку,  
что-то свое промычала Ветка,  
шумно вздохнула Орда в ответ.  
Насторожилась, привстав, Река,  
ткнулась ноздрями в ладонь Игрушка...

— Глупые, нет ничего пока.  
Надо же прежде прибрать в кормушках,  
пол хоть немного позамести. —  
И позабыла Анна за делом,  
что не спала в эту ночь почти,  
что к непогоде в руках гудело.  
Было сейчас ей не до себя:  
печь растопляла, таскала сено  
и разговаривала любя  
с каждой коровой попеременно.

Пахло сено простором полей.  
— Ешьте, забавушки, на здоровье! —  
И отвечали коровы ей  
на своем языке коровьем.  
Кончив, стряхнула труху с платка,  
молча прислушалась: вьюга плачет.  
И постепенно, издалека,  
вспомнила — было совсем иначе.

Сена ни грамма. Соломой шурша,  
двор надрывался голодным ревом.  
Жалко Аняте: кому корова —  
скот лишь, а ей — живая душа!

Думала: только б сошел снежок,  
только б проклюнулась в поле травка,  
только сердешных бы на лужок  
выпустить — там пойдут на поправку.

И дождалась. Потеплело вдруг,  
зазеленело мало-помалу.

Вывела Аппа Орду на луг,  
радости сколько! А та упала...  
— Господи, что это?! Вот же, вот  
травка-то... Ты уцпиши, родная! —  
Видит корова, а не встает,  
только мычит, тяжело вздыхая,  
только тоскливо глядит в прогон...  
Аппа травы нарвала — не хочет.

Плыл, в коровьих глазах отражен,  
облачка

белый как снег комочек.  
Радуюсь внешнему, своему,  
стая грачей над рощей кричала.  
И дела не было никому,  
что на лугу корова упала.

Горько одной со своей бедой  
было Аппоте. Не видя света,  
рухнула наземь рядом с Ордой  
и зарыдала: — Да что же это?

Много воды утекло с тех пор.  
Нынче работать — одна отрада:  
корму в достатке, — и двор как двор,  
и председатель теперь что надо.  
Аппа довольна. А все же нет-нет  
да и вздохнет, тот день вспоминая...

В окнах поздний вставал рассвет,  
и затихала метель ночная.

#### ВДОВА-СОЛДАТКА

Бывало, вспомнишь за беседой  
свой отчий край, свое село —  
и вдруг услышишь от соседа:  
— Ого, куда вас занесло!  
Без вертолета не добраться:  
лес да болото, глушь-тоска...  
Там кони и теперь боятся  
автомобильного гудка.

— А я,— другой добавит,— слышал,  
что там медведи дуги гнут.  
И летом чуть ли не на крышах  
грибы соленые растут!

Да, соглашался я без спора  
(пускай простят мне земляки),  
есть в наших северных просторах  
еще глухие уголки.  
Никем не мерсны дороги,  
никем не хожены леса.  
Но есть, по в этом есть, ей-богу,  
своя суровая краса!  
Мне уголки земли такие  
понять Отчизну помогли,  
там реки — ленты голубые,  
спадающие с плеч Земли.  
А камышовые озера —  
ее веселые глаза.  
Пьянящ там гулкий воздух бора  
и ослепительна гроза!  
Там над строеньями, над пашней,  
как волны, катит шум тайга.  
Зеленый Шум! Там Русью пахнет,  
а Русь кому не дорога!

В глуши такого уголка,  
в селе Веселая Поляна,  
и родилась под осень Анна,  
шестой в семействе мужика.

В тот год пошла из уст Андропы —  
солдат брехать не станет зря —  
молва, что сброшена корона  
с главы «расейского» царя.  
И сшиблись радость и тревога  
лоб в лоб на сходке у реки,  
где чаще Ленина, чем бога.  
упоминали мужики.

И годы шли. Росла на воле  
девчонка — две косы вразлет,—

росла она, как в чистом поле  
трава зеленая растет.  
Как мать, за все бралась с охотой,  
всему училась до поры,  
за клюквой бегала в болото  
и за брусникою в боры.  
С восьми годов пшеницу жала,  
косить помалу начала...  
И лишь сама не замечала,  
как для того еще мала  
была она — совсем девчушка!

А стала пятый класс кончать,  
отец сказал: — Ну вот что, Нюшка,  
довольно — выучилась, чать.  
У нас такого грамотея  
во всей родове нет, не вру.—  
И Анне батькина затея  
пришлась, пожалуй, по нутру.

Ей в поле, в лес — как рыбе в воду:  
чем глубже речка, тем вольней!..  
И становилась год от году  
она все краше да стройней.  
Страдали парни из-за Анны!  
В ее задумчиво-туманных  
глазах, сидящих глубоко,  
в бровях, раскинутых легко,  
в улыбке, сдержанной и милой  
(попробуй сердце сбереги!),  
в ее походке что-то было  
от нашей северной тайги.

Но вот и юность светлым бором  
ушла, гася свои костры.  
И вышла Анна замуж скоро  
в другой колхоз.

И с той поры  
живет она, вдова-солдатка,  
с Ленушкой — дочерью родной —  
в деревне заболотной Грядка,  
в соседстве с милой сторопой.

И все, что светлого бывало  
с тех пор  
и горького до слез,  
се души не миновало,  
через нее прошло пасквось.  
Когда шумели свадьбы в Грядке,  
и снедь валилась со стола,  
и вся артель жила в достатке —  
и Анна счастлива была!  
Когда же кто-то, с земляками  
простившись, дом свой запирает  
и к окнам ржавыми гвоздями  
крест-накрест доски прибивал,  
бросал неубранное поле  
и уезжал из Грядки прочь,  
те гвозди сердце ей кололи  
и день и ночь, и десть и почь.

И все же рук не опускала  
в изнеможении она  
и молча ношу поднимала,  
где впору б трем, — всего одна.  
И спорилось любое дело  
у ней!  
Как грамотный пером,  
она уверенно владела  
серпом, иглой и топором!  
Таскала плуг по перелогам,  
полола хлебные поля...

И ей обязана во многом  
своим цветением земля!

#### НОВОСТЬ

Все счастливы в жизни отчасти.  
А что оно все-таки — счастье?  
Путевка на Черное море  
в известный в стране санаторий?  
Иль, может быть, выигрыш ценный  
на ваш лотерейный билет?  
Успех у мужчин неперемный?

Квартира московская?  
Нет!  
Так думает только деляга.  
Есть счастье иное: гореть  
во имя народного блага  
и собственных сил не жалеть!  
Вполне сознавать, что нелегок  
путь к цели, и все же, устав,  
работать, работать, по локоть  
в пылу рукава закатав!  
Пробиться к победе — и снова  
рвануться лицом на рассвет!  
Завиднее счастья такого,  
красивее — не было, пет!  
Оно расправляет вам плечи.  
А главное, главное в том,  
что людям становится легче  
от вашего счастья потом!

...Про Ляну твердят неустанно  
в деревне не третий ли год,  
что все-таки счастлива Анна,  
что здорово Анне везет.  
Надбит всех больше за сутки —  
доярки всю гомонят,  
завидуя ей не на шутку:  
— У ней не коровы, а клад! —  
А премию выдадут — с жаром  
толкует опять же народ:  
— Подумайте, платье задаром  
Ляну-то дали! Везет!

Да вот и сегодня... А впрочем,  
сегодня, в разгар многих дел,  
огромною радостью общей  
завьюженный двор прозвенел.

А было все вот как.  
С мороза,  
веселый, ввалился во двор  
Петров — председатель колхоза —  
и начал такой разговор:

— Товарищи, есть новость...—  
И встал, прищурив глаз.—  
На чашку чаю в область  
всех приглашают вас!  
— Как так?  
— Обыкновенно.  
— Смеетесь?  
— Не смеюсь.  
— А смелая?  
— Будет смелая!  
— Клянитесь же!  
— Клянусь.  
— Не верится,— сверкают  
глазами перед ним,—  
замерзнем: даль такая...  
— Замерзнуть не дадим!  
Чтоб вас в пути-дороге  
от стужи уберечь,  
я самых быстроногих  
велю коней запречь.  
Но, чур! О деле если  
там разговор пойдет,  
вы не роняйте чести!  
Мол, не стоим на месте,  
а движемся вперед!  
Других желаний нету.  
Мол, если б не война...

И рассказать об этом  
ты, Павловна, должна.

#### СТАРЫЙ ЧЕМОДАН

Лепушке было не до сна:  
впервой без матери, одна,  
ушла на двор Лепушка.  
Тепла еще возле окна  
помятая подушка.

Достала Анна чемодан,  
что сделал муж еще, Иван.

На стол поставила.  
Рукой  
пыль, позабывшись, стерла.  
И острой вдовьею тоской  
сдавило снова горло.

Стар чемодан, а жив пока.  
И все как есть на месте:  
и эта дужка для замка,  
и уголки из жести,  
и подпись краской голубой —  
три буквы в ряд и дата.  
Не взял Иван его с собой:  
мол, ни к чему солдатам  
багаж фанерный на войне,  
не в гости едем к теще.  
— Подай-ка, Анна, лучше мне  
мешок, какой попроще.

Накинул лямку на плечо  
и, словно был виновен,  
сказал: — Увидимся еще...—  
И смолк на полуслово.

Потом она с ним рядом шла.  
Скрипел возок уныло.  
И долго-долго не могла  
проститься: страшно было.  
И все ж настал тот миг.  
Вокруг  
цвело, звенело, пело.  
Благоухал, не скошен, луг,  
рожь, наливаясь, спела...

И он вздохнул. И закатал  
до локтя белый ситец.  
И прохрипел — не прошептал —  
сквозь зубы: — Погодите ж!  
Вы нам заплатите за все!  
За все! Ступай, Анюта...—  
И обнял, тихую, ее  
и отвернулся круто,  
тряхнув чубатой головой...



И вот сейчас с портрета  
глядит он, как глядел живою  
в то памятное лето.  
Глядит и словно шепчет ей:  
«Прости меня, отрада,  
за боль и слезы вдовьих дней  
и не тоскуй, не падо.  
И рану в сердце не тревожь  
воспоминаньем жгучим.  
Ты, в общем, правильно живешь,  
как жить должно живущим.  
И если б вдруг сейчас домой  
я чудом появился,  
как сущей правдою,  
тобой  
перед людьми б гордился».

Часы пробыли в тишине,  
шипя пружинной ржавой.  
Очнулась Анна: свет в окне.  
«Ведь собираться падо мне!  
И что со мною, право?»

Припасы, платье в чемодан  
сложила поскорее,  
за шалью сбегала в чулан,  
обулась потеплее  
и, как заведено давно,  
присела на минуту.  
И тут услышала в окно:  
— Поехали, Анята!

#### ДОРОГА

Вскинув голову рискованно,  
левым глазом к седоку,  
стучает копытом кованым  
жеребец по передку.

Взад-вперед ушами шастая,  
настороженно храпя,

он игрзючи грабастает  
путь-дорогу под себя.

И инвыряет снег спрессованный  
в сани, гриву распластав.  
Весь как будто нарисованный —  
от поздрей и до хвоста.

Прячутся от ветра встречного  
за спиною старика  
две подруженьки сердечные,  
разрумянившись слегка.

А старик, хоть с виду слабенький,  
натянув вожжу к плечу,  
им кричит: — Держитесь, бабоньки,  
как на свадьбе, прокачу!

Через поле краем озими  
правит он: — Ходи, дружок! —  
Врезан тонкими полозьями,  
мягкий вьюжится снежок.

Под крутой дугой, губатая,  
пляшет морда жеребца.  
И под стеганою ватою  
бабьи ёкают сердца.

Страшно им и любо-дорого!  
Поле. Снег. Белым-бело...  
— Не замерзла ли, Егоровна?  
— Что ты, Павловна, тепло!

В санках крепкий запах клевера.  
Словно башни, вдоль пути  
встали ели — стражи Севера.  
Каждой по сто лет, поди.

Хорошо в сапях под сенью их  
прокатиться с ветерком!  
Ведь в распутицу осеннюю  
тут с трудом пройдешь пешком.

Даже в пору сенокосную  
через эти вот леса  
не дороженька колесная,  
а препятствий полоса.

Пролегла она округою  
до райцентра, всем нужна,  
тыщу раз мужицкой руганью  
выстлана, замощена.

Но зато зимою, узкая,  
белоснежная, она  
вся отрада сердцу русскому,  
и надежна и ровна!

Пухом стелется дороженька.  
В уголок уткнись плечом —  
вспоминай о том, что прожито,  
коли вспомнить есть о чем...

#### ВОСПОМИНАНИЯ

— Гей вы, ну ли! — И вдоль посада  
кони ринулись, не унять.  
Сани кованные, что надо.  
Дуги крашенные — на ять!  
А на дугах — «скушиться неча!» —  
ленты шелковые кипят.  
Звон бубенчиков, блеск уздечек,  
суматошный галдеж ребят.

Встречный ветер до боли жалит,  
ветер жжет лицо без огня.  
В шубах, в валенках, в толстых шалях  
чуть подвыпившая родня.  
А жених — ни к чему и шуба! —  
словно в жаркий день во саду,  
знай целует невесту в губы  
у всего села на виду.  
Обнимает ее, бесстыжий:  
«Пусть завидуют, пусть глядят!»

Алым мехом да чубом рыжим  
гармонист ослепил девчат.

Деревенские бабы чешут  
от безделия языки:  
— Ну и парень же, ну и леший!  
Вот как женятся нонь сынки.  
Ни венца, ни божьего страху:  
полюбилась — и покатыл.  
Эку, гляньте, повез деваху,  
эку умницу окрутил!  
Проворонили, проглядели  
Нюшку наши-то молодцы...

Анна Павловна! Неужели  
это было?

И бубенцы  
пели, белые от мороза,  
над тобою —  
слезу утри —  
от «Звезды» — твоего колхоза —  
и до самой его «Зари»?

Было! Так же ушами прядал  
на бегу жеребец шальной.  
И сидел, улыбаясь, рядом  
тот, который тебя отрадой  
звал пока лишь, а не женой.

Как ты, Анна, его любила!  
Взгляд отчаянный, чуб черён.  
Очень много красивых было  
на селе, да не так, как он!

Все дивились, как рядом шли вы,  
замечали за полверсты.  
Много было девчат счастливых  
на селе, да не так, как ты!

Тетки пели тебе: — Обиду  
зря родителям не чини.  
Пореви хоть чуть-чуть для виду,  
буйну голову наклони!

Ты не спорила, нет. Однако  
не могла реветь все равно.  
Разве могут глаза заплакать,  
если сердце счастья полно!

Без оглядки, легко и смело,  
перешла ты чужой порог  
в платье свадебном, в платье белом,  
и смеялась потом, и пела,  
и плясала, не чуя пог!

Не могла ты знать и не знала,  
каблуками стуча дробной,  
что у вашего счастья мало,  
очень мало в запасе дней.

Что вам горе несет обним  
грозовой сорок первый год,  
что лежит уж давно в обиме  
пуля та, что его убьет.  
Что война уже на пороге...  
(И добро, что нам не дано  
знать, с какою бедой в дороге  
завтра встретиться суждено.)

Отметелила в поле выюга.  
И опять загудел колхоз  
отшлифованной сталью плуга,  
сталью гусениц и колес.  
Пахло лето здоровым потом,  
стружкой, скошенной травой.  
По земле ходила Работа  
с гордо поднятой головой!  
Многорукая — еще дома  
были парни и мужики.  
Развеселая — еще вдовам  
не носил почтальон листки  
с черной рамкой...

Ты помнишь, Анна  
(память та тебе дорога),  
как вставали вы раным-рано,  
молодые, и шли в луга;

как свистели, росой омыты,  
косы ваши... И как потом  
первый, общим трудом добытый,  
хлеб пасущий вносили в дом?

Силой хвастал молодою,  
ставил муж мешок «на попа»,  
брал и пес его пред собою,  
шаг нарочно не торопя.

Руки мужа! Они посипли  
и тебя. И в кольце тех рук  
очень маленькой и бессильной  
становилась ты, Анна, вдруг.

Эти руки могли бы гору  
с места сдвинуть!  
Все было в них:  
ласка добрая, и опора,  
и защита от бед лихих.  
И когда их не стало,  
сразу  
там, где трудно было двоим,  
дело всякое без отказу  
стали делать руки твои.

Ох, как пыли они! А ночью  
веноклушным карандашом  
выводили кривые строчки:  
«Милый, я живу хорошо.  
Ты не думай...» А на подворье  
сорок дел и во всем нужда.  
Хватят, память!.. Хлебнули горя  
полной чашею все тогда...

Ну-ка, дед, натяни поводья!  
Ты лети, вороной, лети!  
Сколько солпца в тайге сегодня,  
Анна Павловна, погляди!

Ели плавятся, словно свечи,  
сосны вскинули шалки ввысь.  
Ветер резче ударил в плечи...  
— Эй, прохожий, поберегись!

## В ГОСТЯХ

Приехала в город Анпа  
с Егоровной дотемна.  
И вот уж гостьей желанной  
сидит за столом она  
на этаже четвертом  
и чай густой первосортный,  
хозяину внемля, пьет.  
(«Сбылся ведь разговор-то!  
Петров никогда не врет».)

Не знает чему, а рада.  
Положит кусочек в рот  
искристого рафинада,  
подует и прихлебнет.

— Ты, Павловна, бы внакладку...  
— Ой, что вы! — она в ответ. —  
Внакладку-то и не сладко,  
да и привычки нет.

Протяжно и незнакомо  
под самые облака  
взлетел и поплыл над домом  
рабочий басок гудка.  
Хозяин кивнул на стену  
и с гордостью: — Наш поет.  
Торопит почную смену.  
Нельзя без того — завод!

Завод! — И вздохнул глубоко,  
И вновь повторил: — Завод! —  
Как много сейчас бы мог он  
припомнить!.. И тот далекий  
индустриальный год,  
когда здесь сошлись ребята  
и, споря со стариной,  
скрестили кирку с лопатой  
над сонною тишиной.

И бросили первый камень  
в фундамент, чтоб встал завод

за городом, где веками  
сочилась печаль болот.

А было-то что — не враки:  
хлеб кое-какой, не торт,  
да вонь, да гармонь в бараке,  
да обувь — последний сорт,  
изношенная до дырок,  
да тачки, да фонари,  
да песенка: «Пять — в четыре!»,  
в четыре — и хоть умри.  
В четыре! Дашь, коль надо!  
За совесть, а не за страх  
долбили землю бригады,  
стеклили окна в цехах.  
И ширился, беспокоя  
округу, железный гуд.

Нельзя позабыть такое:  
под сердцем оно, вот тут.  
И только обидно малость,  
что годы прошли... что вдруг  
виски побелила старость,  
украли силу из рук.  
Мол, хватит, дружок, попрыгал!  
А тут и друзья одно:  
«Езжай-ка на берег Крыма,  
пора тебе, брат, давно».

Павловна, блюдце с чаем  
поставив, взметнула взгляд:  
— И ехал бы без печали,  
родимый, коль говорят!

— Да я бы не против вроде.  
И пенсия хороша.  
Да вздумаешь о заводе —  
и так заболит душа,  
что места себе не сыщешь!  
Попробуй-ка тут уйди.  
На что мне, Павловна, тыща,  
коль пусто вот тут, в груди.



Твердит про завод хозяин.  
У Анны ж перед глазами  
кормушки, полны кормом,  
тугие бока коров  
да маленькие телята —  
потешные сосунки,  
что тычутся глуховато  
в ладонь ее узловатой,  
большой, пеженской руки.  
Ей вспомнился весь коровник  
с соломой у ворот —  
приземистый и огромный,  
мычащий ее «завод».

И в сердце гулом забота:  
«И как там дома, и что там?  
Ведь дочь-то невелика.  
Хоть по сердцу ей работа,  
да хватка не та пока.  
Да и смела не больно...»

А ей хозяин, любя:  
— Да полно, Павловна, полно  
напрасно томить себя!  
Не за моря да горы ведь  
умчалась!  
Не вешай голову,  
хозяина не печаль.

— Не знаете вы, Егорович,  
разбойниц моих, а жаль.  
У каждой свои повадки,  
обида свои — беда!  
Бывает, не в том порядке  
начнешь доить иногда,  
а то пропустишь какую:  
мол, стой, провинилась раз!  
Ого, как губы надует,  
ого, как нахмурит глаз!

— Не любят критику тоже?  
— Да как еще! Вот с Ордой  
порой обойдешься строже —

и сразу сбавит удой.  
А сильная — что те лошады!  
Хоть землю на ней паши!

Хозяин у нас хороший,  
скажу я вам от души.  
Когда бы не он... Да что там!  
Совсем другое житье.  
В столице самой работал.  
Не очень было охота,  
поди-ка, бросать ес.  
И мы, когда избирали,  
не верили: убежит.  
Болота, леса. Едва ли  
останется, мол, пожить.  
И ясно, что без почета  
встречали — не до того.  
Десятым, поди, по счету  
поставили мы его.  
С чего начинать, мол, станем?  
«Начнем, — говорит, — с коров,  
поправим крыши дворов,  
разбитые стекла вставим,  
корма подвезем...»  
И верно:  
бывало, чуть рассветет —  
а он, раностай, на ферму,  
посмотришь, уже идет.  
Расспросит: и чем кормили  
коров-то (а корм худой),  
и досыта ли поили  
и теплою ли водой?

Стараемся, как уж можем,  
бывало, мы перед ним.  
Едим, что в карман положим,  
а спим... да почти не спим.  
В домах холодина — печи  
не топлены... Ну, а он  
про то не заводит речи,  
все больше про рацион.  
И я не спесла обиды:  
мол, вы, товарищ Петров,

спросили хотя б для вида  
про нас, а не про коров.  
Пора бы: прошло полгода  
(в горячке-то я крута),  
мол, скот-то ведь для народа,  
а не народ для скота!  
Зима, мол, опять приспела,  
а в доме ни чурбака.  
Сказала — и пожалела:  
обидела мужика.  
Рассердится, мыслю, либо...

А он помолчал, вздохнул.  
«Ну что же,— сказал,—  
спасибо!» —  
и руку мне протянул.  
«За что?» — говорю.  
Хохочет:  
«За ваш хороший урок!»

А вечером Кли́м Орочев,  
гляжу, мне дров приволок.  
«Пеки, Анюта, оладьи! —  
сказал.— Дрова на подбор!»

Негромкий, степенный, ладный,  
люб Аннушке разговор.  
Забывчиво теребила  
она свой платок в кистях...  
Как дома, легко ей было,  
и радостно, как в гостях.

#### НА ТРИБУНЕ

Падал снег — и пушист, и тих...  
Запахнувшись в шубы овчинные,  
из автобусов городских  
выходили доярки чинные.  
Лился сдержанный говорок:  
робость всеми покуда правила...

Анна Павловна за порог  
ногу только лишь переставила —

в сорок труб оркестр заиграл,  
засверкала медь ослепительно.  
Вправо глянула — генерал  
поклонился ей уважительно.  
Удивилась... А тот сквозь шум,  
дав понять, что ее касается:  
— Раздевайтесь, — сказал, — прошу.  
Вы сегодня наш гость, красавица!

— Что ж, — ответила, — гость так гость! —  
рассмеявшись легко и весело.  
И пубейку свою на гвоздь  
в первый раз не сама повесила.

Причесалась (коса пучком),  
застегнула полу жакетную  
и с Егоровною рядом  
поплыла по ледку паркетному.

Нет, не треснул он от того,  
что не туфли, легки и малепьки,  
вдруг обрушились на него,  
а подшитые дратвой валенки.

Не померкли люстр огоньки,  
хоть они такого не помнили,  
чтобы ситцевые платки  
до отказа ряды заполнили.

Зал зевотою не свело  
от того, что сердца горячие  
про коров, округляя «о»,  
без смущенья в рядах судачили.

Зал сверкал, рокотал, гудел!  
Был красив он красой особою  
рук, потрескавшихся от дел,  
губ, помадой не подрисованных.

Алым светом со сцены в зал  
кумачовое било зарево...  
Нет, ошибся ты, генерал,  
здесь не гости сошлись —  
хозяева!

Взмыл, как жаворонок стальной,  
колокольчик, и над трибуною,  
над внимательной тишипой,  
молодая, почти что юная,  
встала девушка... А за ней,  
орденами двумя увенчана,  
щурясь весело от огней,  
поднялась пожилая женщина.

Зал узнал ее.  
Как обвал,  
грянул в зале оваций вал  
от трибуны до входа главного...  
Стих — и кто-то уже назвал  
имя Анны.  
И встала Павловна.

Встала Павловна и пошла  
по ковровой тропинке в валенках.  
И хоть маленькой не была,  
но глазами зал обвела —  
стала сразу маленькой-маленькой.

И забыла, с чего начать  
собиралась с трибуны речь она.  
Вот работала... А сказать,  
а сказать, выходило, нечего.

Ах ты, горе!.. А зал притих.  
И совсем не думая, кстати ли,  
помянула подруг своих,  
рассказала о председателе.  
И еще, теребя платок,  
цифры выпалила назубок —  
и замолкла...

А зал в ответ  
бросил гром молодой на плечи ей.

Выше голову, Анна-свет,  
дело вовсе не в краспоречии!  
Что тебе словес мишура!  
Пусть уж в этом хитром занятии

упражняются мастера —  
записные речетолкатели.

Речь твоя — это ты сама,  
в деле скорая, в горе твердая,  
в честном споре всегда пряма,  
в одиночестве вдовьем — гордая!

Речь твоя — твой нелегкий труд,  
не записана, не размножена.  
Но века ее не сотрут!  
Но такая она дороже нам!

1957

## ПЕТУХ УСТРАИВАЕТ ДЕЛА

(Басня)

На птичий двор явился новичок —  
Петух с багровым гребнем пабочок.  
Стараясь быть похожим на орла,  
спросил у куриц: «Как у вас с жилищем?» —  
«Насест имеется». — «А пища?» —  
«Овес... и крошки со стола». —  
«М-да... — погрузился Петух. —  
Больничный стол...  
А кто диетой ведает?» — «Осел».  
И в кабинет к Ослу пришел Петух.  
Что с ним? Цыпленок, а не кочет!  
То он как курица заквохчет,  
то весь внимание и слух.

Сидит перед Ослом и врет:  
«Характер ваш — пример для многих!»  
Я видел раз: вы встали на дороге —  
и ни назад, и ни вперед!  
Вот было шуму! Кони ржали,  
собаки лаяли... А вы  
не повернули головы  
и на своем ведь настояли,  
презрев опасности и боли...

Поистине пример железной воли!  
Я преклоняюсь перед вами...»  
И стал Петух заведовать кормами.

А днем позднее на краю  
дворовой лужи встретил он Свинью —  
сотрудницу из жилотдела  
(она стояла и глядела  
на собственное в луже отражение).  
Петух пропел и ринулся в сражение:  
«Нам, петухам, корабль тут нужен,  
для нас она, что море-океан!  
Ее Осел обходит... и Баран!  
А вы к презренной этой луже  
однажды подошли — и бух в нее,  
как щука!

Притом изволили вы хрюкать,  
валяясь в луже битый час...  
А сила, сила-то у вас!  
Ведь там, где вы пройдетесь лугом,  
не надобен и трактор с плугом!  
А ваша красота всему известна миру!..»

И получил Петух квартиру.

В честь новоселья он созвал гостей  
(конечно, тех, которых было надо).  
За стол с Овцой усевшись рядом,  
он лично сам ухаживал за ней.  
«Вы честь и совесть коллектива! —  
внушал надменной гостье он. —  
Я вашей инициативой  
и восхищен и удивлен!  
Как огород ни городи,  
а вы найдете выход, точно!  
Вы делом, как ни погляди,  
и дежно заняты и пощно!»

И, глаз кося на пьяную Овцу,  
шепнул: «Признаться, мне вас жалко...  
Да вам бы с вашей смекалкой  
главбухом быть и то к лицу!

Как чернобурка бы пристала  
к такой отличной, как у вас, овчино...»  
Неделя миновала —  
и был Петух повышен в чипе.

Мораль сей басенки стара:  
льстецы ужасны. Но, пожалуй,  
Петух не так смешон и жалок,  
как обитатели двора.

1957

## БАРСУК И БОБРЫ

(Басня)

Артелью жили много лет  
Бобры. В большом и малом деле  
Им помогали дружба да совет —  
Достаток и порядок был в артели.  
Но вот случилось так,  
Что заболел артельный их вожак.  
И встать потом не мог уже с постели.  
Бобры с неделю повздыхали, потужили,  
Медведю для порядка доложили:  
— Другого нам, стать, надо б вожака... —  
Медведь — заметим, выше нету  
В лесу его авторитета —  
Сказал: — Рекомендую Барсука! —  
Задумались бобры: в округе слышно было,  
Что «зашибает» здорово Барсук,  
Что у него не чисто рыло...

Но был Барсук Медведю друг,  
И все ему сходило с рук.

Вот прибыл он. Бобры собрали сходку  
И пу — шуметь:  
— Да он же нас продаст за водку!  
— Да в этакую глотку  
Не напасти добра! —  
Кричали два бобра.



По слово взял Медведь:  
— У Барсука, считаю, местом узким  
Является не то, что он-де пьет,  
А то, что сдачу не берет  
И забывает о закуске.  
Итак, я буду очень краток,  
Не стану заходить издалека:  
Избрать, конечно, надо Барсука,  
Но указать ему на недостаток. —  
Что было делать тут бобрам?..  
Появились чуть — и по норам,  
Сказавши, что согласны...  
А напрасно!  
Но дело сделано: стал вожаком Барсук.  
Семь дней гуляет на неделе.  
И уж, конечно, о делах артели  
Ему подумать недосуг.  
Стоят дела. В делах изъян.  
А он с утра берется за стакан  
И — потихоньку, помаленьку —  
К закату солнца в стельку пьян.  
Бобры, идя своей дорогой,  
Бывает, встать ему помогут  
И скажут, лапами скребя  
Затылки: — Дал же черт тебя!

---

Известно, что бобры  
И терпеливы, и добры.  
Но мы добавим: до поры!  
И Барсуку узнать придется,  
Насколько зубы их остры.

1957

## ДВЕ БОЧКИ

(Басня)

Однажды водовоз  
Во дворик бочку новую привез.

Со старой рядом став, она спесиво  
Провозгласила:  
— Взгляни, какими обручами  
Я стянута, подружка! —  
И важно повела плечами:  
— Стреляй из пушки — не пробьешь!  
И низ хорош, и верх хорош!  
Не бочка, так сказать — игрушка!

— О да, — сказала старая в ответ, —  
Видней, пожалуй, бочек нет  
В округе нашей... Видимо, бондарь  
На совесть бочки делает, как встарь.  
Ведь я, как ты, из-под его руки явилась...

— Скажи на милость! —  
Пропела бочка новая, вздыхая. —  
И как же ты? Все возишь воду?  
— Я не бываю дня пустая  
И становлюсь прочнее год от году.  
Тебе же, бочке молодой,  
Скажу...  
— О нет, уволь, коллега!  
Ну, что за невидаль — с водой  
По улицам таскаться на телегах?!  
Ну, согласишься, что не пристало  
Такое дело мне... —  
Сказала бочка новая и встала,  
Надменно глядя, в стороне.

А дни летели чередой.  
Шуршали листья опадая.  
Дружила бочка старая с водой  
И пустовала молодая.  
Рассохлась вся. Песку надуло в щели.  
Поблекли доски, и уже давно,  
Проржавев, обручи слетели,  
И даже вывалилось дно.  
И люди выкинули бочку.

Тут я поставлю точку.

1947.

# 1958

## НА ПОКОСАХ

За селом, на клеверных покосах  
посреди березовых палат,  
утром кружат косы на колесах,  
стрекоча с кузнечиками в лад.

Лошади по грудь сырые: росно.  
Под ногами — россыпь серебра.  
Стелются коврами под колеса  
и медово пахнут клевера.

А в кустах, в тени, в зеленых кельях,  
перезвоны выветлопных кос,  
синих колокольчиков веселье  
и рубахи белые вразброс.

Этих трав вовек косилкам конным  
не достать — ребятам дан наряд.  
В легкие косьевница  
ладопи  
внятные пламенем горят.

Сбросить бы рубахи: жалят люто  
комары — на шеях волдыри.  
И швыряют, дорожа минутой,  
справа влево косы  
косари.

Древняя тяжелая работа,  
чаще в зной... И все-таки она  
для ребят  
и на краю болота  
радости — взгляни — не лишена!

А уж возле речки — той, что дразнит  
омутами, черной глубиной, —  
та работа им — и вовсе праздник!  
...Только б дождь не грянул обложной.

*1958 — 1980* 22.

\* \* \*

В стихах  
деревенских идиллий  
и сам я терпеть не могу.  
Но вы по покосам бродили,  
вы спину хоть раз натрудили  
с косою на заречном лугу?  
Вы пили из речки с коленей,  
за быстрым течением следя,  
хоть раз засыпали на сене  
под вкрадчивый шепот дождя?  
О, тихие дождики эти,  
без луж на дорогах, без гроз!  
Не те, о которых в газете  
заране дается прогноз.  
Пойдет он — не сразу расслышишь,  
вдруг капля слетит — замечай:  
как будто бы пяткой о крышу  
ударит комар невзначай.  
Помедлит — и снова ударит...  
А рядом начнут топотать  
четвертый, десятый комарик,  
пятнадцатый... Не сосчитай!  
Лежишь околдован, как сказкой,  
дождя комариною пляской  
и запахом сена медовым,  
лежишь, не считая минут,  
доволен постелью и домом,  
в котором нашел ты приют.  
Скрипит полуночная птица:  
«Спать, спать» — словно «баю-баю».  
Тебе ж еще долго не спится,

ты думаешь думу свою  
про то, что хлеба этим летом  
добры — колосок к колоску,  
что лучше, по многим приметам,  
живется теперь мужику.  
«Спать!» — снова, себя не жалея,  
надсадно скрипит коростель.  
И веки твои тяжелеют.  
Все глубже и мягче постель.  
Ты валишься в сон, словно в воду,  
подумав, что завтра опять  
хорошая будет погода  
и надо зарю не проспать.

1958

## ПОСЛЕ ВОЙНЫ

*М. Дудину*

В день святого Пантелеймона  
(впрочем, тут ни при чем святой),  
повернувшись спиной к иконам,  
пили женщины — дескать, что нам! —  
мутной браги хмельной настой.

Угощали друг друга рьяно,  
грубо, попросту, по-мужски.  
Пели звонко, плясали пьяно  
и смеялись до слез. С тоски.

А тоска велика, без меры.  
Встанут в круг, подперев бока, —  
сами дамы и кавалеры,  
ни единого мужика.

Ну, хотя б один заваливающий,  
даже пусть инвалид какой.  
Покурил бы, коли курящий,  
уцелевшей обнял рукой...

Пегу! Даже за гармониста  
(научила всему нужна)  
тоже баба — толстушка Христя,  
радость горькая и беда.

Ах, и что за гармони были  
раньше — Христиной ли чета!

Где те парни? Одних убили.  
А другие ушли, забыли  
эти северные места.

Пляшут женщины: — Ах вы, сени!  
Пой, тальяночка, норови! —  
Шумно в горнице, а веселья —  
нет веселья, хоть впрямь реви.

Может, с песнею вдоль посада  
им пройти бы — рука в руке —  
и себя и свои наряды  
показать бы — да перед кем?  
Ходят улицей, крутозобы,  
только куры да петухи...

Трудно: где же вы, хлеборобы?  
Скучно: где же вы, женихи?

1958

## ЧЕРЕМУХА НА ДЕРЕВЕНСКОЙ УЛИЦЕ

Ее, молодую, из лесу когда-то  
хозяин в деревню принес на плечах.  
Он вырыл ей яму железной лопатой,  
он полил ей корни водой из ключа.  
И встала черемуха рядышком с домом,  
и любо ей было занятие одно:  
мести по карнизам зеленым подолом,  
пахучей метелью швыряться в окно.  
Да терпкие ягоды — много ли, мало —  
дарить ребятишкам в ладони... Но вот

однажды ни окон, ни дома не стало,  
один лишь бурьян по соседству растет.  
Куда ни протянет черемуха руки —  
зовущие руки — кругом пустота.  
Ей снятся калитки знакомые звуки,  
ей грезится окон резных высота,  
и несня про горы златые, и говор  
из окон, и хромки лихой перебор...  
Вот так и хозяин, уехавший в город,  
наверно, тоскует о ней до сих пор.

1958

## ПЕРЕД ДОРОГОЙ

— Уезжаешь?  
— Уезжаю.  
— Тесно, что ль, в родном дому?  
Хоть убей — не понимаю,  
уезжаешь почему.

Злясь, четвертую сигарку  
бригадир свирепо жег,  
уговаривал доярку,  
отговаривал как мог.

— Без стыда ты, Анка! Разве  
я тебя не уважал?  
Или заработок мал?  
Или не в чем выйти в праздник?  
Иль в душе запал пропал?  
Уезжать  
в такое время!  
Все невзгоды позади...  
Ты сама-то посуди:  
получила десять премий,  
двадцать, может, впереди!

Повернулась к бригадиру,  
чемодан толкнув ногой:

— Ты меня не агитируй,  
бесполезно, дорогой!

По избе как ветер дунул —  
шаль рванула со стены:  
— Понимаешь?.. Зря ты думал:  
мне не премии нужны.  
Не наряды... Что в них толку?  
Перед кем, позволь спросить,  
этим штапелем да шелком,  
уважаемый, форсить?

Коль в деревне, не соврать бы,  
нет гармонии ни одной,  
коли праздники и свадьбы  
нас обходят стороной?

Клуб у черта за болотом,  
нет отрады никакой...  
Надоела не работа —  
скука! Понял, дорогой?  
Да притом я не старуха  
и как будто не урод,  
чтоб остаться вековухой  
из-за премий ваших, вот!

Бригадиру даже жарко  
стало. Пятую сигарку  
завернул и прикурил.  
И не глядя на доярку:  
— Ты права... — проговорил. —  
Ты права. И все ж рисковно  
поступаешь. Посуди:  
женихи-то дома скоро  
будут... Слышала, поди?  
Свадьбу справим, да такую,  
что одна на белый свет!  
— Вот тогда и потолкуем.  
А сейчас охоты нет,



Встала возле чемодана:  
— До свидания...— И вдруг  
опустилась. Зарыдала...

Бригадир вздохнул устало,  
смял сигарку о каблук.

1958,

## ПОГОЖЕЕ ЛЕТО

Беды не придумаешь хуже —  
в страду заболеть мужику.

Слег Осип. Всерьез занедужил.  
Не то что поестъ — табаку  
и то не желает. На стуле  
лежит без потребы кiset,  
а рядом пилюли, пилюли...  
Аж тошно глядеть — лазарет!  
И встал бы, да нету силенок...

А день разгулялся давно  
и плещет зеленым-зеленым,  
веселым-веселым в окно.  
И явственно с поля доносит  
натруженный рев тракторов...

Лежит, сокрушается Осип:  
все в поле, а он нездоров.  
Все в поле — и, значит, работа  
идет. Да не легче с того.  
Томит, как бывало, забота  
крестьянскую душу его.

Никто не зайдет — до него ли,  
больного, соседям теперь:  
лежишь — и лежи, коли болен...

Но — что это? — скрипнула дверь...  
— День добрый!

— Здорово, Никола.

— Болеешь?

— Болею, брат...

— Зря.—

Негромок участливый голос  
партийного секретаря.

С улыбкой присел у кровати,  
поправил подушки, тюфяк...

— Скучаешь, наверное?..

Кстати,

а я ведь зашел-то не так.

Да ты не волнуйся... Награду  
тебе присудили, гляди! —

И вынул флажок.— За декаду,  
за прошлую, ты впереди.

Спасибо тебе... Да лежи ты!

А Осип — пойми отчего —

вдруг вспомнил

все, что пережито...

И дрогнули губы его.

...Нет, он от колхоза не бегал.

А всяко бывало порой:

и хлеб оставался под снегом,

коль год выдавался сырой;

и скот без кормов

с середины

зимы... А весна далеко.

Солому снимали с овинов —

какое уж там молоко!

И все-таки теплилась где-то

под сердцем надежда, что вот

погожее выйдет лето

и снова колхоз заживет,

подтянется, лучших догонит...

И он не случайно сейчас

спросил, согревая ладони

в багровом огне кумача:

— Как сев-то? —

Тревожно и строго

спросил. И когда секретарь

сказал, что осталось немного,  
что сеяли лучше, чем встарь...  
А люди — их больше не стало —  
все те же, считай не считай...  
— Погода не та! — прошептал он.  
И понял его секретарь.

1958

## КОНИУХ ТАРАС

— Все же вспомнили старика! —  
крякнул конюх, захлопнув двери.  
На крылечке, ушам не веря,  
развернул документ в руках.  
Буквы в памяти вороша,  
по складам прочитал: — Пу-тев-ка, —  
и, с крылечка ступив в потемки,  
вдоль деревни направил шаг.

В избу весел вошел и горд.  
Но, раздевшись, сказал степенно:  
— Собери узелок, Елена.  
Еду утречком. На курорт.  
— Печка теплая — хоть сейчас,  
коли вздумалось, можешь ехать.

Бабку аж затрясло от смеха:  
не поверила. А Тарас  
понял это совсем не так:  
— Что же я? Недостоин, стало?  
Иль еще поработал мало? —  
И обрушил на стол кулак.  
И пошел задаваться дед  
перед бабкою — нету сладу.  
— Я ль не я выручал бригаду,  
звери-лошади, десять лет?!

Я ли сбруей не дорожил,  
я ль к коню подходил без ласки?!

Так ужель от колхозной власти  
я спасибо не заслужил?

А курорт в двадцати верстах  
был всего лишь — подать рукою.  
Бором славился да рекою,  
очень тихою в тех местах.

Дед добрался туда за час.  
Сунул рубль за проезд в кабину,  
попрощался. И «жизнь-малина»,  
как считал он сам, началась.

Сразу в бане помылся дед.  
Баня жаркой была, признаться.  
Только веника похлестаться  
не нашлось. Да уж нет, так нет.

Возвратился — зовут за стол,  
чай пьют, пироги с начинкой.  
А Тарасу бы четвертинку  
или граммов хотя бы сто.  
«Год не пей, — золотой совет, —  
два не пей, но уж после баньки  
для здоровья, не ради пьянки,  
выпей!» — вспомнил при этом дед.

А хозяевам ни к чему...  
В белых чепчиках да халатах  
отвели старика в палату  
— Отдыхайте, — велят ему.

Лег. Да где там! Заснуть не мог.  
«Неужели при коммунизме  
вот такая и будет жизнь?» —  
думал, глядя на потолок.

День прошел. И второй, длинён  
от безделья и даже скучен.  
Монастырской тоской измучен,  
ночью конюх увидел сон,  
будто корма иссяк запас,  
будто сбруя вконец разбита...

Утром не было аппетита,  
окончательно сник Тарас.  
Сам «культурник» его таскал  
и в кино, и на танцы в клубе.  
Но не шла, хоть убей, па убыль  
сногшибательная тоска.

Вместо отдыха как-то раз,  
распорядок нарушив строгий,  
не без умысла на дорогу  
прогуляться пошел Тарас.

Было холодно. Сиверок  
дул, и сосны шумели глухо.  
Вспомнил: «Валенки у старухи  
не подшиты. А мог бы, мог».  
И решил: «Передам наказ,  
чтоб сюда прислала с оказьей».

По дороге, заляпаны грязью,  
шли подводы домой как раз.

Подгоняли коней сплеча  
два курносых молокососа.  
Тяжело вертелись колеса,  
по камням в колее стуча.  
На опавших боках коней  
шерсть блестела в поту и мыле,  
будто их три дня не кормили  
и не чистили сорок дней.

Охнул конюх, узнав ребят,  
в грудь ударила боль тупая.  
— Стойте,— яростью закипая,  
крикнул,— стойте, вам говорят!

Подскочил, хватил по плечу  
ездового и вырвал вожжи.  
— Марш с телеги сейчас же! —  
с дрожью  
крикнул парню.— Штаны спущу!  
У-у, работнички. Бить бы вас...  
Трогай, милая.— И с разбегу

неуклюже вскочил в телегу  
и вожжами тряхнул Тарас.  
Дождь забрызгал. И он промок.  
Ехал, правил и все ругался.  
И жалел о том, что остался  
бабкин в тумбочке узелок.

1958

## ПАРНИ

Было:

выходили парни,  
черной молнией в руке играла трость.  
С первача да браги лбы в испарине.  
Выходили парни — оторви да брось!  
Скопом шли по улке.

В грое песен  
хромка взвизгивала, словно под пожом.  
Гармонист, головушку не веся,  
шел, как туз,

толпой шестерок окружен.  
Перед ним впрысядку шли, впрысядку,  
разметая пыль кистями поясов.  
А навстречь —

неробкого десятка  
парни с песней,

может, в двадцать голосов.  
Как две тучи шли — не разминуться.  
Слишком улка деревенская узка!  
И взлетали, чтоб на спинах гнутья,  
тросточки — не ножички пока...  
Рассыпались по заулкам в страхе,  
как горох, мальцы,

друг друга торопя.  
И трещали белые рубахи,  
а случалось, что трещали черепа.  
Но гуляли парни — по колено море! —  
вдоль деревни, с гиком,

от избы к избе.

Удаль бесшабашная во взоре,  
и цигарка чуть не с палец на губе!  
Кровью — не водой — вскипали жилы,  
сила выхода искала, молода.  
Если были биты — не тужили  
парни: трусами ославят — вот беда!  
Вдруг да девки, щелкая орехи,  
закудахчут —

это тот еще народ:  
«Ванька-то, видали, девки, сдрейфил,  
зайцем Ванька убежал за огород!»

...Гбда от последней потасовки  
не прошло — страна ударила в набат.  
И уже не тросточки — винтовки  
с правых плечиков свисали у ребят.  
В дальние заброшенные дали,  
меж боев они вздыхали нет да нет:  
«Помнишь, Леха... помнишь, как гуляли?  
Дым и гром на целый сельсовет!  
Ну и дурни же тогда мы были, Леха...»

«Дурни, да... Но если б снова довелось  
с песней вдоль деревенки прогрохать,  
заменяв винтовочку на трость,—  
право слово,  
было бы не плохо!»

1958 — 1980 гг.

## РАБОТА

Мой дядя — отменный коваль. По знает любой  
в колхозе,  
что, если нужда заставит, он сможет поставить дом,  
и печку сложить сумеет, и сможет согнуть полозья,  
да так, что перед народом  
не стыдно будет потом.

Над самым мудреным делом он весел и самовластен:  
кует — молотком играет, стругает — как песнь поет.

Глядят на его работу и ахают люди: «Мастер!»  
А «мастер» хохочет только,  
со лба утирая пот.

За что ни возьмется дядя — одна у него забота,  
чтоб вещь не уродцем хилым глядела, а молодцом!  
Бывает, кивнув на что-то, он скажет: «Моя работа!»  
И вещь улыбнется будто,  
довольная кузнецом.

Таким я его и помню — с веселым огнем во взгляде...  
Он шлет и теперь мне письма из наших краев глухих.  
Большие, как щепки, буквы: рука тяжела у дяди.  
Читаю: «Недавно видел  
работы твоей стихи.

Поскольку племянник пишет — прочел до последней  
строочки  
Добро поработал, парень, скажу тебе... Молодец!»  
Держу я перед глазами с каракулями листочки,  
как будто держу награду...  
Спасибо тебе, кузнец!

Спасибо за то, что труд мой,  
ты, знающий цену пота,  
ты, ведающий усталость, которая валит с ног,  
ты, мастер, — горжусь я этим, —  
без скидок назвал работой,  
которую тоже трудно, как всякую, делать в срок.

Спасибо тебе, герой мой, читатель и добрый критик!  
Я верю тебе. И счастлив я буду, когда смогу  
сказать о стихах, не прячась:  
моей работы, смотрите!  
И глянуть в глаза открыто товарищу и врагу!

1958



## ПО ЯГОДЫ

О, этот праздник бабьего набега  
за клюквой на болото Журавли!

Корзины грудой сложат на телегу,  
мешки в корзины бросят — и пошли!  
Длинна-длинна дорога до болота,  
да не скучна... Идут у колеса  
и языками будто бы молотят,  
пересыпая смехом голоса.

И сколько тут отчаянных да храбрых,  
готовых правду резать напрямки:  
мол, что ж мы смотрим, что ж мы терпим,  
бабы,

опять всю власть забрали мужики!  
Мы с вилами — они с карандашами,  
Мы с ведрами — с кисетами они...  
Да что ж мы, бабы, хлопаем ушами,  
не бережем, не ценим трудодни?  
Все мы да мы, какая ни работа.  
Пора приструнить крепко мужика!

Нет, не длинна дорога до болота.  
А с разговором даже коротка.  
И вот уже разобраны корзины,  
подоткнуты подола высоко,  
и зубчатая, в елочку, резина  
уже следы печатает легко  
на мху, где клюква, словно на подушках,  
лежит, как буби-козыри, красна.  
И оставляют женщины друг дружку,  
и сразу наступает тишина.

Широко разбегаются в расчете  
скорей — гляди, чтоб кто не перебил! —  
найти такое место на болоте,  
где ягод — хоть лопатою гребь!  
Не жадность подгоняет: знают твердо,  
что хватит ягод всем в болоте, но  
отстать от прочих собственная гордость

не позволяет!  
Сыплются на дно,  
подпрыгивая, мокрые рубины...

Но дрогнут руки вдруг в минуту ту,  
когда глухарь чуть не из-под корзины  
взлетит, испуган, с ягодой во рту.  
— Фу, дурень экой! — провожая взглядом  
шальную птицу, женщина вздохнет.

И вновь берет. И вот уж полон ягод  
мешок. И кто-то голос подает.  
— Ау, ау! — из глубины болота  
доносится. — Ау! — звенит в лесу.  
— Пошли домо-ой! — зовет чуть слышно  
кто-то.

А кто-то ближе: — Ой, не донесу.  
Ой, родненькие, лопнет поясница...  
— Убавь, — кричат, — коль ноша велика!

А на дороге старичок возница  
уже в оглобли ставит меринка.

И, глядя, как с мешками на дорогу,  
шумя, выходят женщины, ворчит:  
— Ой, бабы, бабы... Глупые, ей-богу!  
Набрали — мужику не утащить!

1958

## ПО ПРАВУ ЗЕМЛЯКА

(Поэма)

Я жил на родине все лето  
В одной из дальних деревень,  
Куда московские газеты  
Приходят лишь на пятый день.

Зеленой дремой околдован  
Лесов величественных, там  
Себя я чувствовал как дома,  
Бродя по памятным местам.

Что мне неведомы страны!  
Мой отчий край — моя судьба.  
Пойду в луга — по пояс травы,  
Пойду в поля — по грудь хлеба!

В «Заре», родной моей артели,  
Ревнивым сердцем земляка  
Я узнавал во всяком деле  
И ум и волю вожака.

И мне, как дважды два — четыре,  
Понять не стоило труда,  
С чего поля здесь стали шире  
И многочисленной стада;

С чего на швейные машины  
В сельмаге местном вырос спрос;  
С чего на тапцы в крепдешинах  
Здесь бегать нынче повелось.  
А сколько добрых новостроев  
Мне показал колхоз «Заря»!

И был лирически настроен  
Я, откровенно говоря.  
И собирался, помню, даже  
Поэму радости пачать.  
Но, видно, сердцу не прикажешь,  
Какими струнами звучать.

А вышло так. Уже под осень,  
Когда кончался обмолот,  
В «Маяк», к соседям, довелось мне  
Попасть негаданно на сход.  
Маяк! Словечко-то какое!  
Скажи — и вспыхнет огоньком.  
Маяк — и нет тебе покоя,  
Маяк — и видно далеко!

Но, скажем прямо, в этом смысле  
Сосед наш выглядел не так:  
Был в отстающие зачислен  
Давным-давно колхоз «Маяк».

Шутил порой народ досужий  
В районе: мол, для «Маяка»,  
Чтоб он светил,  
С м о т р и т е л ь нужен  
С душой и хваткой моряка!  
Но на «смотрителя» такого  
Все не фартило «Маяку».

То попадется бестолковый  
И правит, лежа на боку.  
Едва спихнут его, как снова  
Такой, бывало, попадет,  
Что ничего, кроме спиртного,  
И в рот, пожалуй, не берет.

Беднел «Маяк». И глохли пашни.  
И что ни год — росла беда.  
И огонек на белой башне  
Потух, казалось, навсегда.

Но вот, весной, как раз в ту пору,  
Когда последний таял снег,  
В «Маяк» на лодочке с мотором  
Приехал новый человек.

Посланца города большого  
(Была дорога далека)  
По-русски, с чистою душою  
Встречали люди «Маяка».

С тех пор прошло почти два года.  
Была ненастная погода,  
Когда я полем, без дорог,  
Насквозь промокший, шел со схода  
Домой, на дальний огонек.

По небу, черные, угрюмо  
Неслись стадами облака.  
А я все шел, все шел и думал  
О новых бедах «Маяка».

Не повезло соседям снова.  
Я с болью в сердце увидал,

Что «Маяка» «смотритель» новый  
Больших надежд не оправдал.

Мне не легко писать об этом,  
И вы поймете почему.

...Горели лампы тусклым светом  
В густом махорочном дыму.  
Сидели бабы на скамейках  
Плечом к плечу, лицом к столу.  
И трактористы в телогрейках  
Курили, сидя на полу,

И пахло в комнате мазутом  
От ватных плеч. А за стеной  
Уже, наверно, восемь суток  
Шел дождь осенний, проливной.

Дождь, дождь...  
А рожь еще в суслонах.  
Дождь. А пшеница на корню.  
А над пшеницею вороны,  
И нет доверья к трудодню!

И валится из рук работа.  
И горько лечь, и трудно встать,  
И нет — и нет былой охоты  
В труднжках «палочки» считать.

А ведь считали, как известно.  
Считали, верили пока,  
Что председательского места  
Достоин гость издалека!

С надеждой думали сельчане,  
Что он полюбит край лесной  
И съездит в город за вещами,  
А там, глядишь, и за жепой.

И приживется понемножку.  
А он ни крышей между тем,  
Ни даже собственной ложкой  
Обзаводиться не хотел.

Квартировал — и был доволен...  
А скоро слух прошел о том,  
Что он давно опасно болен,  
Болезнью редкою пригом,  
Что воздух здешний,  
Климат здешний  
Не для него. И потому  
Вернуться следует, конечно,  
В пределы города ему.

Тянулись сумрачно недели.  
Больной хандрил, больной худел.  
И хоть, считалось, был при деле,  
Но к делу явно не радел.

И, хвори той поняв причину,  
Народ решил, что ни к чему  
Тут беспокоить медицину,  
И взялся сам помочь ему.

И было созвано собрание.  
И только сели вокруг стола —  
Изба упреками и бранью  
Буквально взорвана была.

Ему кричали с места вдовы  
Наперебой, что в дни войны  
Они хватили лиха вдоволь  
И лучше жить теперь должны.

И даже дед, седой и грузный,  
Поднялся, чтоб ему сказать,  
Что раз уж он назвался груздем,  
Так должен в кузов залезать,  
Вникать в работу с интересом,  
Беречь артельное добро;  
Что торговать колхозным лесом  
Да ссуды кляпчить не хитро.

На деле так оно и было:  
Долгам не виделось конца.  
И дед сказал об этом с пылом  
Не ради красного словца.

Не для того, чтобы обидеть,—  
Старик имел другую цель:  
Как весь народ, хотел он видеть  
Иной, чем есть, свою артель.

Чтоб деревенские посадки  
Стояли — любо поглядеть!  
Все есть для этого, лишь надо  
Расправить крылья — и лететь!

Чтоб даже в этом сельсовете,  
В глуши медвежьего угла,  
Плотинам,

спутникам,  
ракете  
Жизнь соответственна была!

Чтоб правда века стала правдой!  
Затем, доверьем облечен,  
И был в тот трудный год направлен  
В деревню северную он.

Слов нет, нелегкою задача  
Была. Зато какой размах!  
Но он на все глядел иначе,  
Одно испытывая: страх.

Что слава подвига? Что деньги?  
Ему служить бы да служить  
В богозабытом учрежденье,  
А вышло — «голову сложить».  
Поехал! Сколько было шуму:  
— Наш доброволец! Наш герой! —  
Друзья ему купили шубу:  
Мол, надевай ее — и в строй!

Супруга, справившись с испугом —  
Беда случилась в первый раз,—  
Его мешок набила туго  
Мукой и сахаром — в запас,  
Купила масла, яблок, сыру...  
И, перед тем как проводить,  
Сказала: — Деньги за квартиру  
Не забывай переводить...

И поезд тронулся на север,  
В тайгу!.. И вот уж на вагон  
Леса угрюмые пасели  
Со всех сторон, со всех сторон.

По буеракам и канавам  
В поля крадется березняк,  
В луга влетает конной лавой  
В сверканье сабельном ивняк.

И, смотришь, там, где плуг работал,  
Теперь лесок шумит, сквозя,  
Где стог, бывало, ставил кто-то,  
Теперь косой махнуть нельзя.  
А сколько троп позарастало,  
Дорог лесных — пройдешь не вдруг.  
Не то чтобы телег не стало,  
Телеги есть. Но мало рук.

Одни, что рады б постараться,  
Взмахнуть секирой над кустом,  
Давно уже в могилах братских  
Уснули, сложены крестом.  
Другие, те, что возвратились, —  
И это нет нужды скрывать, —  
Другие руки опустили,  
Уставши беды бедовать.

И вот покрылись лесом пашни...  
И, нашей взвинчены бедой,  
Враги злорадствовали наши,  
Бичуя наш колхозный строй.

По, их выслушивая фразы,  
Мы знали: строй тут ни при чем.  
Он был нам временем подсказан,  
Завещан нашим Ильичем.  
Мы

мощь его за эти годы  
Познали! Если б не война,  
Теперь забыла б недороды  
Моя лесная сторона.



Так вам ли, недруги, подсудны  
В огне сгоревшие года?!  
Мы с нашей болью многотрудной  
И сами сладим, господа!

Пускай в мозолях наши ноги,  
В кровоподтеках кулаки,  
Но мы строители дороги,  
И мы же — первоходоки!  
И вы не тратьте зря усилий —  
Мы все равно пойдем вперед!

Дул вешний ветер над Россией.  
Снег оседал. Ломался лед.  
И по распутице весенней,  
Сойдя с гремящих поездов,  
Снешили в дальние селенья  
Посланцы шумных городов,

Подвластны общему движенью,  
Они с решимостью бойцов  
Шли, чтоб вступить с нуждой в сражение  
И победить в конце концов!  
О них сложить мне песню б надо,  
Веселой строчкой прозвенев.

Но в сердце горькая досада,  
И боль давнишняя, и гнев.  
Глаза закрою — вижу снова:  
Гудит та сходка, горяча.  
И режут люди правду,  
Слова  
Поделикатней не ища.

А он? Что мог он им ответить?  
Взглянуть не смея на народ,  
Сидел он, будто бы раздетый,  
Сидел воды набравши в рот.

Но вот, трусливо горбя спину,  
Он встал, качнув табачный чад,  
И, отыскав в кармане, выпул  
И положил на стол печать.

Печать. Она одна два года  
И утверждала только связь,  
Связь, так сказать, его с народом...  
И эта связь оборвалась.

И он уехал из селенья.  
Уехал — кончилась игра —  
Без лишних мук, без сожаленья,  
Как с постоянного двора.

Осенний дождик падал косо,  
Вода плескалась в колее,  
И, как тележные колеса,  
Вертелись думы в голове.

Дрожа от стужи окаянной,  
Окоченевшею рукой  
Он под полой пальто внезапно  
Нащупал книжицу с тоской.

Она засунута глубоко,  
Через подкладку пиджака  
Вдруг обожгла его упреком  
Напротив левого соска.  
И запылала с сердцем рядом,  
Напоминая вновь ему  
О принадлежности к отряду  
Борцов, готовых ко всему.  
Борцов, что смело в битву вступят  
Там, где другим не по плечу,  
Борцов, что меряют поступки  
И жизнь свою по Ильичу!

И понял он, что книжка эта,  
Хотя она еще лежит  
В его кармане, но с рассвета  
Ему уж не принадлежит.

Перебирая в мыслях даты,  
Сейчас припомнил он опять  
Тех коммунистов, что в тридцатых  
Ушли колхозы создавать.  
Посланцы фабрик и заводов,

Они, решимости полны,  
Страницу славную в те годы  
Вписали в летопись страны.

Себя представив рядом с теми,  
Он зябко съежился в пальто,  
Подумав: дескать, наше время,  
Что ни толкуй, уже не то...

Да, наше время — спору нету —  
Не то. Как пуля из ствола,  
Оно несется, как ракета,  
Что нами пущена была!

Мы чтим коленопреклоненно  
Те знаменитые года,  
Но, может, подвиг дерзновенный  
Сейчас нужнее, чем тогда!

Огромна наших дел пагрузка.  
И чтоб свершить их до конца,  
Нужна не только сила мускулов —  
Нужны горячие сердца!  
Нужны сердца высокой пробы,  
Полету времени под стать,  
Какие дрогнут — значит, дрогнут,  
Чтоб вовсе биться перестать!

Нет, не утратили мы твердость  
Сердец и мхом не обросли.  
Как никогда, быть может, гордость  
Мы в наше время обрели!  
В ней все: задор и жажда боя.  
А бой не знает тишины!

И мне, пожалуй, жаль героя,  
Коль глянуть с этой стороны.

Да, он своей добьется цели,  
Вернется в город. И опять  
Привыкнет нежиться в постели,  
В семь просыпаться, а не в пять.  
И будет знать, зевая сладко,  
Что не ему бежать с утра  
В бригады, где людей нехватка,  
В поля, где тонут трактора,  
В луга, где бабы ставят копны,  
А небо в грозовом дыму...  
Бранить их за нерасторопность  
И злиться — тоже не ему.

Приняв смиренно осуждение,  
Он вновь отыщет бережок  
В богозабытом учреждении,  
Коль бог ту заводь бережет.  
Получит стул, и стол, и ящик  
И будет так же, как вчера,  
На исходящих и входящих  
Прилежно ставить номера.  
Он будет вовремя обедать,  
И впрок ему пойдет еда.

Все так. Но радости победы  
Ему не знать уж никогда!

Той самой радости, какая  
Упасть солдату не дает,  
Когда он, рану зажимая,  
Воды шеломом зачерпнет  
И, потный, досыта напьется,  
Потом с лица отмоев грязь...  
И вдруг беззвучно рассмеется,  
И слез не сдержит. В первый раз.

# 1959

## КНЯЖИЦА

*Полине*

Когда наступает  
хлебов косовица,  
в лесу поспевают  
княжица, княжица.  
Ах, ягода-лада,  
утеха для взгляда,  
вкуснее и слаще  
малины из сада!

Коль женщины наши  
в лесу сенокосят,  
для Танек, для Яшек  
княжицу приносят.  
Зеленые листья,  
багряные кисти  
на солнце сверкают  
рубинов лучистей.

Княжица, княжица,  
лисийкин подарок!  
Мальчишечьи лица  
светлеют не даром.

Княжица, княжица,—  
не зря говорится.  
Ее, зная, растила  
княжна или царица.

Растила до срока,  
росой поливала,  
чтоб наполнилась соком,  
скорей созревала.  
Как хвоя ресницы  
у этой царицы,  
а щеки, а губы  
румяней княжицы.

Лесные владенья ее  
не обмерить.  
Ей служат с раденьем  
и птицы и звери.  
И, может, лисица  
там главный садовник...

Кистями княжна  
ложится в ладони.  
Не как угощенье  
для Мишки иль Васьки,  
а как продолженье  
мамапкиной сказки.

1959

## РАЗГОВОР С ПОПУТЧИКОМ

*Е. Макаровскому*

Край наш — это верно, брат, —  
виноградом не богат.  
И земля у нас сырая,  
и болота широки.  
Но на свете лучше края  
нет, считают земляки.

— Хорошо у нас в краю, —  
сами шутят, — как в раю!  
Клюквы, луку да рябины  
отродясь не переешь.  
А брусники, а малины  
в нашем крае сколько есть?!

Верей от ворот —  
вот какой у нас народ!  
Плечи в сажень, грудь горою, —  
пальца в рот им не клади.  
На работе землю роют!  
Был — так видывал, поди.

Ваших, коль молва не врет,  
на работе дрожь берет.

А у наших пышут лица  
от жары — не похвальба,—  
наши в стужу рукавицей  
утирают пот со лба.

Рубят, брат, не байки бают.  
Но зато и за столом  
щи да кашу подметают  
ложкой, словно помелом!

А когда за самовары  
сядут (солоно солят!),  
пьют, покуда клубы пара  
из сапог не повалят.

Сахар есть — внакладку пьют,  
вышел весь — вприглядку пьют,  
пьют с малиной, пьют охотно  
с клюквой — ягодой болотной,  
потому как виноград  
здесь не зреет. Верно, брат!

Но ведь мы вперед глядим,  
сложив руки не сидим.  
Кое-где и в нашем крае  
по весне цветут сады...

А короче — хватит хаять  
край наш: не было б беды.

1959

## ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ

(Шутка)

Чуть не каждый вечер с Фросей  
мы встречались у ворот.  
Счастлив был я. Но под осень  
все пошло наоборот.

Собралась и укатила  
раз на выставку она.  
Каково в те дни мне было —  
знают звезды да луна.

Тосковал я, портил нервы,  
а она — ну как не лень! —  
возвратилась и на ферму  
убежала в тот же день.

Стены все сама, как надо,  
побелила добела  
и в свинарнике порядок,  
как в аптеке, навсела!

И, понятно, где какие,  
а у Фроси все подряд  
поросята «деловые»,  
как в районе говорят.

Стыдно свиньями, пожалуй,  
поросят таких назвать...  
Поработала немало  
Фрося, надобно признать.

А в любви не стало ладу:  
день мы врозь и вечер — врозь.  
За последнюю декаду  
семь свиданий сорвалось...

Ох, придется мне, наверно,  
отставать от тракторов  
и идти на свиноферму  
хоть учетчиком кормов. .

1959

## ДОСКА ПОЧЕТА

В комнате, где косточки на счетах  
щелкают весь день наперебой,  
на стене висит доска Почета,



почему-то в рамке голубой.  
А на ней, достойны преклоненья,  
женщины. Четыре поколения!  
На груди — то брошка, то медаль,  
то и ничего... А на коленях —  
руки — не последняя деталь!

Не в сиянье нимбов божьи лики —  
смотрят на меня еще с доски —  
всемогущи в поле и велики  
богос, чем боги, — мужики!

Смотрит на меня сама Работа.  
Светлая — к чему ей позолота!  
Гордая — ее я понимаю,  
разбитная — все ей по плечу!  
Вот она какая... Я снимаю  
шапку перед нею. И молчу.

1959

## СТРОКА МОЯ

Колхозный радиоузел. Черемуха у окна.  
Деревенка в два посада. И вечер. И тишина.

Я должен пред микрофоном стихи прочитать сейчас.  
Листаю страницы книжки, волнуясь, как в первый раз.

Не область меня услышит и даже не весь район —  
всего деревень пятнадцать, в лесах с четырех сторон.

По в каждой из них я, может, не раз ступал на крыльцо,  
и многих — не понаслышке — я знаю давно в лицо.

Вернулись, должно быть, с поля они с полчасца назад,  
и руки их на коленях, не мыты еще, лежат;

и зноем, и ветром пахнут, и черной землей полос,  
лежат, расчесать не в силах прилипших ко лбу волос.

Я вижу их, землеробов. Разувшись через порог,  
они к самоварам сели неспешно: всему свой срок.

И пьют, наливая в блюда, и лбы рушниками трут...  
А время идет: осталось не более трех минут.

Что мне прочитать такое, чтоб в избу вошел мой стих.  
Как запах от каравая, что короткою хрустит.

Вошел, как сама работа, как гул посевной страды,  
как женщина входит в избу с ведром ключевой воды.

Как добрый сосед заходит по делу, а то и пет.  
И в доме по-русски просто кивают ему в ответ.

Его угощают хлебом, ему наливают чай...  
Но — щелкнул включатель. Время.  
Строка моя, выручай!

1959

## ПЕРВАЯ ПЕСНЯ О КУЗНЕЦЕ

*Ивану Шилову*

Мы с тобой и в самом деле  
много соли вместе съели.  
Много вместе на веку  
искурили табаку.  
И едва подсохнут лужи  
на дорогах, снова я  
по веленью старой дружбы  
в наши трогаюсь края.  
Любо в кузнице просторной  
мне, прибыв издалека,  
постоять с тобой у горна,  
прикурить от уголька.  
А потом рубахи ворот  
расстегнуть  
и, рукава  
засучив, обрушить молот

на металл — и раз, и два...  
Бить, не выступит покуда  
пот горячий на спине.  
Я ль когда тебя забуду?!  
Ты ль не вспомнишь обо мне?!

1

Возле речки, там, где ивы  
ловят в струях голавлей,  
ты идешь неторопливо  
с полным кузовом углей.  
Вспоминается болото...  
В сорок памятном году  
там лежал ты с пулеметом  
в атакующем ряду.  
Бил и бил неутомимо,  
чудом целый и живой,  
бил, пока не взвыла мина  
над твоею головой.  
Зацепив верхушку елки,  
полыхнула жаром вниз.  
Глубоко ее осколки  
в тело белое впились.

Эта порция металла  
не была тебе мала.  
Смерть тебя уже пытала —  
вынес. Жизнь свое взяла.

Подлечился — и в дорогу,  
к детям, к женке поспешил.  
И принес к ее порогу,  
кроме праведной души,  
два захватанных, бесплатных  
деревянных костыля,  
да шинель, да дух палатный  
от казенного белья.  
Ох, была нелегкой встреча.  
Жгли махорку старики  
да тужили... да весь вечер  
женки плакали в платки.  
Детвора глазела с печки.

И сидел ты — не герой,  
а всего солдат увечный —  
перед этой детворой.  
Что к чему — ребята знали!  
Убеди-ка их поди,  
что герой ты, коль медали  
не бряцают на груди.  
Спорить с этою ватагой  
было попросту грешно.

(Да, не мало за отвагу  
храбрецов награждено.  
Только, может, больше втрое —  
ведь сраженья не парад! —  
незамеченных героев,  
неполученных наград.)

Впрочем, нет, не о наградах  
ты печалился в ту ночь:  
шла война, и было надо  
чем-то женщинам помочь.  
Так и этак толковали,  
но клонили к одному:  
— Коли можешь, поковал бы —  
в поле ты нам ни к чему.  
— Что ж, — ответил, — ваша воля.  
Не болела бы нога... —  
А уж так хотелось в поле,  
в рожь высокую, в луга!

2

Посевная, посевная,  
небо — чашей голубой.  
Сторона моя родная,  
вновь я встретился с тобой!  
Опьяненный ветром вешним,  
тропкой к кузнице иду.  
— Дядя Валя, друг сердешный,  
с добрым утром! Честь труду!

Мы, конечно, оба рады  
новой встрече: минул год.

Нам, пожалуй, сесть бы надо,  
 покурить... Но у ворот  
 трактор, в копоты, в автоле,  
 молчалив и зол на вид,  
 одинокой фарой в поле  
 с нетерпением глядит.  
 И пока его ты чинишь,  
 примеряешь там да тут,  
 словно низшие по чину,  
 кони очереди ждут.  
 А до кузни утром ранним  
 долетает с белых мхов  
 свадебное бормотанье  
 лирохвостых жепихов.  
 — Дядя Ваня,— говорю я,—  
 слышишь, вся земля гудит! —  
 Сокрушаясь и горюя:  
 — Слышу, парень,— говорит.  
 Напекаю осторожно:  
 — Может, сбсгаем па ток? —  
 Он в ответ: — Оно бы можно...  
 Сам о том грущу, браток.  
 Знаю, срок настал. Не рано.  
 Да ведь как уйдешь? Дела!  
 Да к тому же, парень, рапа  
 на ноге не зажила. —  
 Я краснею перед другом  
 и, смущен, молчу! Шабаш!  
 И висит, набитый туго,  
 бесполезно патронташ.

3

Целый день над наковальней  
 ты вздымаешь молот свой,  
 ты хотя не идеальный  
 для меня, а все ж — герой!  
 Знатокам иным в угоду  
 я бы мог сказать о том,  
 что ты пьешь одну лишь воду,  
 кипяченую притом.  
 И что ты в ладу с культурой.

И нередко в поздний час  
засыпаешь над брошюрой,  
благо их полно у нас.  
Ходишь в клуб с женою вместе,  
далеко глядишь вперед.

Но бывает, коль по чести,  
чаще все наоборот.  
Не хочу тебя обидеть  
ложью: ты и так хорош.  
На порошке кузни сидя,  
я гляжу, как ты куешь.  
Вскинешь молот зло и быстро:  
— Гха! — И влепишь по бруску.

Словно пули, брызжут искры,  
пот струится по виску.  
И летит от наковальни  
вдаль и ввысь, под облака,  
молодое кукованье  
работяги-молотка.  
Варят сталь мартены где-то,  
где-то в космосе, похож  
на далекую планету,  
спутник мчит... А ты куешь!  
Где-то люди, суесловя,  
начиня ядом ложь,  
бомбы новые готовят  
на тебя... А ты куешь!  
Руки — сильные на диво,  
как кувалды — кулаки.  
Ты куешь — и зреют нивы!  
Ты куешь — гудят станки!  
И луга цветут, и птахи  
гнезда вьют в родном краю...  
Я в твоём широком взмахе  
прав России узнаю!

1959

## ДЕРЕВЕНСКОЕ СОБРАНИЕ

Деревенское собрание  
(деревенское — заметь!)  
я люблю, скажу заранее.  
Я готов на нем сидеть,  
коль случится, до полночи,  
не вставая, как в кино.  
Да оно, сказать, короче  
не бывает все равно.

Если добрая погода,  
полусонные с тоски,  
на собрание приходят  
первым делом старики.

На порог садятся, на пол —  
до собрания битый час, —  
молча скручивают в лапах  
тридцать три сигарки враз.  
Курят мирно. Ожидают  
баб: нельзя теперь без баб!  
Ну, а тем напиться чаю  
прежде надобно хотя б,  
сделать кое-что по дому,  
коровенок подоить.  
Кто их в этом деле, вдовых,  
к слову, может заменить?!

Наконец, приходят. В кофтах,  
сшитых с милой простотой,  
не обижены ни ростом,  
ни, конечно, широтой.  
И садятся: Марья с Настей,  
рядом, ладом — дочь и мать.  
И верховный орган власти  
начинает заседать.

Ух, собрание! Негде плюнуть,  
негде яблоку упасть!  
Ну, а ежели подумать —  
потому оно и власть!

Тут речей не произносят,  
тут, коль надо, говорят.  
Тут за правду — кровь из поса,  
тут в беде — за брата брат!

Как навалятся все вместе,  
как поглаживать начнут  
против шерсти, против шерсти —  
взмокнешь весь за пять минут!  
Что ни худо, где ни слабо —  
виноваты мужики.  
Ох и бабы, ну и бабы —  
жала, а не языки!

Председатель стукнет, брякнет  
по графину, по столу:  
мол, давайте по порядку,  
мол, потише там, в углу!  
Смолкнут резко «автоматы».  
— Кто желает? — Тишина.  
Смысла нет: у виноватых  
без того горит спина...

1959

## ШЕФЫ ПРИЕХАЛИ

Все! Хозяйственный год  
завершен. Вдохнул народ.  
В воскресение собрание,  
на повестке дня — отчет.  
Накануне получили  
за три месяца аванс.  
И с утра

по той причине,  
протерев глаза, мужчины  
налегали на квас.  
Было муторно, хоть вой...

И вдруг — пе потеха ли! —  
на машине грузовой



шефы приехали.  
Развернули буфет.  
И чего в нем только нет:  
булки, пряники, печенье,  
ворох штучных конфет.  
А еще три бочки пива  
вологодского разлива.  
А еще випо «вермút»,  
как его прозвали тут...

Жепки млеют в радости,  
покупают сладости.  
Покупают, не скупятся,  
делятся с подружками.  
А мужья в углу толпятся,  
пиво дуют кружками.  
Через час на скамьях  
сонно, блаженно:  
дым-туман в глазах,  
в головах брожение.  
Председатель жуост  
цифры монотонно  
про удой, намолот  
в килограммах, в тоннах.

Пьет, потеет: нелегко.  
Вот уж больше часа  
мямлит: мясо, молоко,  
молоко да мясо.  
А ведь мог бы с «горы»  
поклониться лучшему...  
Или ставились дворы  
по велению щучьему?!

Нет! Свой молодцы —  
хорошо ли, плохо ли —  
вон какие дворцы  
для коров отгрохали!  
Да, дворцы! Для коров!  
Не жалели топоров,  
хоть и знали — протекают  
крыши собственных дворов.

...В зале стало тепло,  
душно... Через это  
баб на сон повело,  
мужиков к буфету.

Хорошо расправить тело,  
выпить кружку про запас.  
Хорошо, что шефы делом  
помогнули в этот раз.

В коридоре шум.  
А в зале  
тишина на зависть.  
Видно, крепко задремали  
те, что там остались.  
И не диво: там — доклад,  
тут — уже дебаты.  
Уверяет свата сват:  
— Председатель виноват,  
мы не виноваты.

Старики в стороне,  
захмелев, о трудодне  
развернули прения.  
Но их речи, право ж, не  
для стихотворения.  
Кто-то им, болтунам:  
— Что вы расшумелись?  
Шли бы лучше по домам  
да на печках грелись.

— Что мы, — сердятся, — не люди?!  
Отлежимся до утра...

Ох, добра у шефов будет  
нынче выручка, добра!

1959

## «ЗАКУРИТЬ — ДА БЕЖАТЬ»

Жил-был мужичок (не припомню, как звать)  
по прозвищу: «Ну, закурить — да бежать».

Бывало, проснется — росу опекло.  
И бабы, с серпами уйдя за село,

уже по суслону успели нажать...  
Зевнет он: «Хо-хо! Закурить — да бежать».

И тотчас же, лежа еще на боку,  
возьмет из кисета щепоть табаку

и трубку набьет, как богатый сосед  
под осень зерном набивает сусек.

Зажжет, запалит, задымит в две ноздри —  
хоть лопни от зависти, черт побери!

Бывало, подыметса солнце в зенит,  
а трубка не гаснет, а трубка дымит.

Заборист, пахуч самосад-табачок!  
Так с трубкой в зубах и встает мужичок.

Чего-то попьет, пожует на ходу  
(известно, как дорого время в страду!) —

и в поле, взяв трубку с собой да кисет...  
Родится ж такой «торопыга» на свет!

Однажды, едва он засел за обед,  
в окошко к нему постучался сосед:

«Пожар, понимаешь... беги! — говорит. —  
Овин у тебя, понимаешь, горит!»

Мужик поперхнулся, в окно поглядел,  
остаток похлебки из блюда поддел,

подумав: «Беда-то какая опять».  
И трубку достал: «Закурить — да бежать!»

Народ за деревню, к овину парод,  
а он еще только с ведром в огород.

Воды зачерпнул, прибежал. Посмотрел —  
овина-то нету... Сгорел!

...Я вспомнил о нем, просидевши вчера  
в колхозной конторе часа полтора.

1959

## УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Речушку неглубокую  
перемахнувши вброд,  
забрызганный, под окнами  
взревел и встал как вкопанный  
районный вездеход.

Старухи, озабоченно  
взглянув из-под руки,  
сказали: — Полномоченный! —  
ломая языки.  
И деды с этим мнением  
согласны были тож...

Вот он вошел в правление,  
повесил макинтош,  
платочком вытер лысину  
и — за рога быка:  
— Я к вам, Иван Анисимыч,  
по части молока!  
Нехорошо, душа моя,  
снижаешь, брат, удой.

А мог бы, это самос...  
Работник молодой.

Притом в наличие концентрат  
и грубый корм имеется...  
Пойдем-ка, что ль, на фермы, брат,  
посмотрим, что там деется.

Шел, отмечая важные  
просчеты, поглощен  
коровами фуражными,  
телятами еще.  
Заглядывал в безгрешные  
глаза телят:— Ну как?  
Ну как вы тут, сердешные?  
Замерзли, вижу. Факт!

Выспрашивал, выпытывал  
у мокрогубых:— Сыты ли? —  
Ласкал их и чесал.  
И с детским умилением  
следил за их поением  
и все писал, писал...

Что над и под коровами  
имелось, отмечал.  
Доярки с ним здоровались —  
не замечал.  
В минуту подходящую  
ронял, нахмутив бровь,  
слова руководящие  
и принимался вновь  
беседовать с коровами,  
оглядывать быка...

Он был командированным  
«по части молока»!

1959

## ДЕВЧАТА

*А. Яшину*

Сон свалил деревню. Поздно.  
Спит зеленая страна.  
Только месяц, только звезды,  
да гармонь не спит одна.

Там девчата-хохотушки —  
гармонист у них в чести, —  
словно семечки,  
частушки  
сыплют под ноги друг дружке  
до полуночи почти.  
Что им сон — девчатам нашим!  
Каблучками словно пьют.  
От любви сгорают — пляшут,  
от измены сохнут — пляшут,  
и зимой и летом пляшут —  
как они не устают?!

А была война — плясали  
все равно и в дни войны.  
Встанут вкруг: матани — сами,  
и гармонисты — тоже сами,  
сами — песельницы, сами,  
наконец, и плясуны.

Были болью, были мукой,  
не стихавшей ни на миг,  
эти песни о разлуке,  
эти пляски «под язык».

Да и пели-то, признаться,  
для того лишь, может быть,  
чтобы вдруг не разрыдаться,  
чтобы в голос не завывать.

Злы и грубы были песни.  
Пели так —  
и в этом суть, —

чтоб врага не пулей если,  
так хоть словом полоснуть!

А хотелось песен светлых.  
Но была без пареньков  
кладовая слов заветных  
заперта на семь замков.  
Годы шли — но не тускнели  
те слова в сердцах девчат...  
«Скоро ль, серые шинели,  
возвернетесь вы назад».

Сгинул, минул срок тот страшный...  
По траве да по росе  
воротились помилашки,  
воротились, да не все.  
И летела в край из края  
о девчоночках молва:  
чуть не каждая вторая —  
незамужняя вдова.

Две недели, три недели,  
сто недель потом подряд  
пели... плакали и пели  
те девчонки, говорят.

А однажды замолчали:  
на другом конце села  
без тоски и без печали  
песня крылья развела.  
Полетела, словно эхо  
песен, снетых до войны,  
одаряя смехом, смехом  
все четыре стороны:

«Девочки, любовь горячую  
посите под платком.  
Я носила под косыночкой —  
раздуло ветерком».

Половодьем песен этих  
ты, мой Север, и хорош!  
Спит округа. Месяц светит.

Сны досматривает рожь.  
Желторотые грачата  
в гнездах спят, и спят грачи  
возле гнезд... Одни девчата  
ходят с песнями в ночи.  
Ходят улицей знакомой.  
И у каждой для дружка  
песен сто с собой да дома  
под завязку — два мешка!

1959

## КОГДА ЖЕНИТСЯ ДРУГ

Я ночь пахал и день пахал  
и вновь штурвал верчу.  
Я, черт возьми, не отдыхал  
и очень спать хочу.  
Я знаю, что такое труд.  
Но я не знал, ей-ей,  
что веки могут весить с пуд,  
а то и тяжелей.

Мотор гудит. Башка гудит.  
Сильней гудит башка.  
Ругаю, на чем свет стоит,  
я своего дружка  
за то, что нет глотка воды,  
а жажда сушит рот,  
за то, что он в разгар страды  
жениться вздумал, черт!

Да, да, жениться! Есть одна  
в селе девчонка-звон.  
Не знаю я, в уме ль она,  
но ясно — спятил он.  
Еще все дело впереди,



еще пахать, пахать...  
Но я ему сказал:— Иди!  
И перестань вздыхать!

Вторая ночь. Второй рассвет  
спешит по полосам.  
И мнится мне, а может, нет,  
что я железный сам.  
Во мне взрывается бензин,  
и бодрствуют во мне  
полсотни лошадиных сил,  
рожденные в огне.

Иду, дымя и грохоча.  
Туман в глаза течет...  
А он, наверное, сейчас  
ее целует, черт.  
Прилип — водою не разлить,  
сошелся клином свет.  
Эй, перестань меня дразнить!  
Ты слышишь или нет?

И я не прочь свою обнять,  
я обещался ей.  
Но не привязывать же, стать,  
полсотни лошадей,  
когда земля поспела вся  
и сеятеля ждет...  
Заря, как рыжая лиса,  
из-за лесов ползет.

Ползет... А сон свое берет.  
Темно в глазах моих...  
Но кой там дьявол рот дерет?  
А, это ты... жених!

1959

# 1960

## ВЫБИРАЛИ ПАСТУХА

Шло собрание бригады,  
Споря, злясь — не без греха, —  
Выбирал народ завстадом,  
А короче — пастуха.  
Знали — Власа ставить надо.  
Нет способней мужика.  
Если он возьмется — стадо  
Даст прибавку молока.

Уговаривали Власа  
Всей бригадой больше часа.  
И добром и лихом — всяко.  
Сдался!  
Но, возмущена  
Малодушьем Власа,  
В драку  
За него пошла жена.

Встала, вытянула шею  
Над собраньем, словно гусь:  
— Знайте, вашему решению  
Я умру — не подчинюсь!  
Разбегусь и брошусь в омут —  
Не приму позор такой.  
Эко выдумали! Что оп,  
Дурачок, мужик-то мой?  
Зимогор али калека?  
За какие же грехи  
Через силу человека  
Отдаете в пастухи?  
Не согласна! Протестую!  
Бригадир, имей в виду.

— Протестуешь? —  
встал со стула

Тот.— Ну что же... Сам пойду.  
Добровольно — слышишь, Анна?  
Принимаю твой «позор»  
На себя!  
И завтра рано  
Самолично с барабаном  
Выйду. Кончен разговор!

Ох уж бабы погалдели,  
Посудачили в ту ночь!  
Можно было б в самом деле  
Воду в ступе истолочь.

А на зорьке, после дойки,  
Из-за фермы выйдя вдруг,  
Барабан рассыпал бойко  
Дробь упрямую вокруг.  
И пошел, в себе уверен,  
По траве по мураве,  
Лицемерить не намерен,  
Встав у стада во главе.

Со сторонки глянув, бабы  
Улыбнулись от души:  
— Больно ловко барабанишь,  
Петр Иванович, хоть пляши.  
Любо — сам себе полковник,  
Мило — сам себе оркестр!

Навалясь на подоконник,  
Анна глянула окрест:  
— Кто бы это? Неужели  
Впрямь мужик сошел с ума? —  
И едва на самом деле  
Не рехнулась тут сама.

1960

## МЕДВЕДЬ

По лесу, ломая валежины лапами,  
Медведь не крадется — бредет напролом.  
Свое государство! И эти палаты  
Соснового бора, и тот бурелом...  
Захочет — спиною о елку почешется,  
Над тонкой березкою вдоволь потешится!  
Взберется, за волосы схватит, блажной, —  
И ну до земли нагибать ее, нежную...  
Плевать, что сычи у него за спиной  
За это его обзывают невежею!  
Наскучит — и снова, беспечен, шатается,  
Нет мяса — овсяною кашей питается:  
Насеял мужик возле леса овса.  
Меж тем во владеньях спокойствия прежнего  
Не стало: зарезали волки лося  
И жаждут попробовать сала медвежьего.  
А он, уповая на силу былинную,  
Все это считает за шалость невинную  
И ухом — ни тем, ни другим — не ведет.  
От стужи в берлогу заростся, увалень,  
И лапищу чуть не полгода сосет:  
Ему все равно, что о нем бы ни думали!  
Сопит вполноздри он... А кто-то украдкой  
Его обложил и под левой лопаткою  
Щекочет уже заостренным колом.  
Как взрыв, разгибает он тело бугристое  
И в рост, разъяренный, идет напролом!  
Но поздно. Грохочут жестокие выстрелы...

1960

## ЛЕДОХОД

Лед тронулся. Река взломала лед.  
Штурмуют льдины мостовой пролет!  
Идут — и гулом ход их отдается.  
Идут серединой взбешенной реки.

Идут  
прорваться  
или расколоться  
о непоколебимые быки!

Туман как пыль похода, над рекою...  
Не всякому — о нет! — дано такое;  
вот эта правит к берегу, а та  
уже на кочке около моста  
угрюмо наслаждается покоем.

Лежит... А льдины, мимо проплывая,  
встают, тесня друг друга, на дыбы;  
лежит, еще сама не сознавая  
жестокую иронию судьбы.

Счастливая? Но счастье в чем —  
растаять?!

Ведь ей дано, по совести, одно:  
исчезнуть преждевременно, оставив  
после себя лишь мокрое пятно.  
Лежит... А все живое мимо, мимо,  
через пролет, по гребню полых вод...

Мне по сердцу твоя неукротимость,  
твоя неотвратимость, ледоход!

1960

## МАЛЬЧИШКИ НАШЕГО ДВОРА

О революции картина  
В кинотеатре шла вчера.  
И та далекая пора  
Суровой правдой захватила  
Мальчишек нашего двора.  
Наутро, встав с постелей рано,  
Они — таков был уговор —  
Решили мужество с экрана  
Перенести к себе во двор.

Вооружились чем попало,  
Царю восстанием грозя,  
Прибили к палке лоскут алый  
(В бою без знамени нельзя)  
И написали ЛЕНИН мелом  
На нем...

Но тут начался спор:  
Кто за царя? Кто будет белым?  
Никто! За красных был весь двор!  
Потом решили: все же надо  
Кому-то быть и за царя...  
И вот над снежной баррикадой  
Взвилось, ликуя и горя,  
Родное знамя. И в ворота,  
Направив на него штыки,  
Ввалилась белая пехота,  
Влетели с гиком казаки.  
Рыжеволосый третьеклассник,  
Точнее — белый генерал,  
Сражаясь в самой гуще красных,  
На знаменосца напирал.  
И второгодник долговязый,  
Изображавший казака,  
Нагайкой, с лошади не слезая,  
Бил знаменосца по рукам.  
И были хлесткими удары,  
А он стоял...

Но в этот миг  
Четыре яростных жандарма  
Ему вцепились в воротник.  
Стремясь рукой достать до палки,  
«Сдавайся!» — кричали беяки.  
Но знаменосец в этой свалке  
Сильнее стиснул кулаки.  
И знамя белым не досталось!  
Крутую описав дугу,  
Оно с героем

распласталось  
Призывом красным на снегу.  
И он, не чувствуя ударов,  
Взметнул кумач над головой.  
И с новой силой на жандармов  
Напал, воспрянув, род людской!

И враг разбит и смят был сразу.  
И с деревянного коня  
Свалился конник долговязый,  
Своих сподвижников браня.  
А те, расстроены не очень,  
Вскочили весело с земли  
И все на сторону рабочих  
Бесповоротно перешли.  
И, позабыв про поражение,  
«Ура!» кричали без конца,  
Как будто кончилось сражение  
Паденьем Зимнего дворца!

1960

## РОССИИ

Нелегкую ты выбрала мне долю —  
дала бумагу мне, перо дала...  
О, Русь моя, колосья по подолу,  
и синь в глазах, и солнце у чела!

Ты — вечная — моложе век от века!  
Тебе, моя великая страна,  
ни позолота лести человека,  
ни пудра фраз красивых не нужна!

И ты, великодушная на диво,  
казни меня забвеньем, коль солгу...  
И без меня ты можешь быть счастливой,  
я без тебя, Россия, не могу!

1960

## ЖИВУ НА ЗЕМЛЕ

Как пращур камушки,  
ракеты  
швыряет в небо человек.  
Какая тема для поэта!

Двадцатый век — великий век!  
И мы не то чтоб перестали  
дивиться, но при всем при том,  
как о событии простом,  
мы говорим: «В луну попали»,  
привычно в небо ткнув перстом.

И все-таки — великолепно!  
Того и жди, что через год  
еще в одну планету влепит  
железным камушком парод.  
Народ не чей-нибудь — тот самый,  
какому я принадлежу.

Так что ж я все-таки, упрямый,  
не в небо — на землю гляжу?  
Печалюсь, если где-то что-то  
еще не так, как быть должно:  
тут не осушено болото,  
адесь осыпается зерно.  
А там, за Тотьмой, бездорожье  
такое же, как в старину...

Да, это мелко и ничтожно  
пред попаданием в Луну.  
Да, мало чести петь про это,  
когда над сказкой верх взяла  
мир изумившая ракета...

И я встаю из-за стола,  
на перевернутой странице  
не написавши ни строки...

Весна на улице. Дымится,  
оттаяв, матушка-землица.  
Возле правленья мужики  
сидят, районную газету  
и табачок пустив на круг,  
и тоже что-то про ракету  
и фантазируют, и врут.  
Каков, гадают над вопросом,  
у марсианок внешний вид.



Но бригадир, окурок бросив,  
встает и вот что говорит:  
— Довольно, кажется. Пора нам  
идти, пожалуй, отдыхать.  
Луна — Луной, а завтра рано  
нам Землю все-таки пахать.

И улочкою колеистой  
идет домой. И я иду.  
Волнуясь, о странице чистой  
припоминаю на ходу.  
Иду, ощупывая взглядом  
тропинку. Начало темнеть.

Я на земле живу. И надо  
мне все же под поги глядеть!

1960

## И МОЯ ЗАСЛУГА!

Позволь отдать тебе поклон,  
великое Светило,  
за то, что в этот год теплом  
ты нас не обделило!

Гляжу, идя вдоль полосы,  
с каким усердьем в час росы  
твои лучи-пройдохи  
пшеницу тянут за усы  
и за уши горохи...

Да и в саду с тобой в ладу  
дела идут блестяще.  
На редкость в нынешнем году  
ты, солнце, работаешь!

И в том, что нива не пуста,  
что небывало рожь густа  
и тянет медом с луга,

твоя, конечно, доброта,  
но... и моя заслуга!

Ого, вставал я сколько раз,  
когда еще ты спало,  
пахая уже, когда ты глаз  
еще не открывало!

И в час, когда ты на покой,  
устав, за лес валилось,  
вовсю еще я за рекой  
работал, ваша милость!

И как работал! Неспроста  
в полях такая красота.  
И за красу такую  
дай, брат, в горячие уста  
тебя я поцелую!

*1960*

## СТИХИ, ОБЕЩАННЫЕ РЕДАКТОРУ...

Да, обещанные... Впрочем,  
по порядку все. Вчера  
я двенадцать звонких строчек  
утром выдал «на-гора».  
И в отличном настроенье  
я в редакцию пришел,  
и свое стихотворенье  
бух редактору на стол!  
Прочитал он мой стишок,  
не спеша промолвить слово,  
и скривил гримасу, словно  
выпил горький порошок.  
Трется, мнется, вижу... Тошно!  
Что за черт! — я удивлен.  
Как горячую картошку,  
держит лист бумаги он.  
Вот-вот на руки подует!

И, судьбу свою кляня,  
 спик, затих я, как под дулом,  
 что направили в меня.  
 — Что там? — спрашиваю в страхе.  
 А редактор мне в ответ:  
 — Клеверком уж очень пахнет  
 ваша лирика, поэт!  
 А ведь это означает —  
 травополкой пахнет, брат.  
 Я и сам души не чаял  
 в клеверах, — пожал плечами. —  
 Ошибался! Виноват!  
 Осознал! Не как иные...  
 Дал душе другой настрой.  
 И теперь за пропашные,  
 так сказать, стою горой!  
 Потому как на ошибках  
 нам учиться не грешно. —  
 Заключил он без улыбки.  
 Мне же стало вдруг смешно.  
 — То-то, брат, — сказал он мило. —  
 Плюнь на клевер и вот тут  
 помяни хотя б про силос,  
 и тогда стишки пройдут!  
 — Нет! О нет, — сказал я с тактом. —  
 Дайте рукопись сюда.  
 Не подходит — не беда.  
 Я другие вам, редактор,  
 напишу стихи... Да, да!

1960

## КЛЕВЕРА

Клевера в соку и в силе.  
 Поглядишь вперед, назад —  
 фиолетовым и синим  
 нестерпимо бьет в глаза.

Вширь и вдаль не удержи́мо  
 расплеснулись, разлились.

Как зеленые пружины,  
стебли сладкие сплелись.

В солнце маковки и в росах,  
пчелы мед из них сосут...  
Притупившиеся косы  
мужики домой несут.

Бают, встретив бригадира,  
у общественных дворов:  
— Клевера — большая сила,  
нам нельзя без клеверов!

1960

## БАНИ ТОПЯТСЯ

Как под праздник, разом все  
в огородах бани топятся.  
Мужики домой торопятся:  
наконец-то кончен сев!

Не грешно после страды  
и попариться маленечко...  
— А готовы ль, женки, венчики?  
А наношено ль воды?  
Нам бы в баньку прямиком!  
Десять ден, а может, более  
умывались пóтом в поле мы,  
утирались ветерком.

Пышут жаром у реки  
бани. Веники окачены.  
И штаны, в земле испачканы,  
скидывáют мужики.  
И, нырнув в жару, рычат,  
чешут спины просоленные...  
Как взрывчаткой начиненные,  
камни в каменках трещат!

Ковш, еще два ковша  
с ходу опрокинуты.  
Веники вскинуты:  
— Оттаивай, душа!  
Ух, как хорошо! —  
На полке устроился  
и пошел, и пошел —  
выше, ниже пояса...  
А пар клубится  
вокруг мужика:  
— Подайте рукавицу,  
не терпит рука!

Но буйствует веник,  
но веник сечет:  
вставай на колени,  
сдавайся, черт!  
И жжет и кусает  
и грудь и бока  
и на пол бросает  
с полка мужика!

Ништо, отлежится.  
Откройте-ка дверь.  
Ему еще мыться,  
тереться теперь.  
Мазутные пятна  
с мозолистых рук  
и в бане, понятно,  
отмоешь не вдруг.

Пышут жаром у реки  
бани. Мыло в шайках пенится.  
Спины трут себе, не ленятся,  
трактористы в две руки.  
Поперек и вдоль сто раз!  
По домам идут, как новые.  
Там их ждут — давно готовые —  
самовары на столах.

1960

## КОНЕК НА КРЫШЕ

(Поэма)

### 1

Из бѣловыхъ бревен изба,  
изба — по карнизу резьба,  
и конь деревянный на крыше  
с подрезанной челкой у лба.

Точеная шея — дугой.  
И прахом земля под ногой!  
Свистит в наостренные уши  
разбойничьи ветер тугой.

Два ската — два черных крыла,  
размах — от угла до угла...  
О нет, не стоит он на месте —  
летит, закусив удила!

Взвалив на бока облака,  
он смотрит на все свысока,  
как идол крестьянской удачи —  
и вера, и бог мужика.

А в поле широком — весна...  
Но былей недобрых полна  
его деревянная память —  
крепка и доныне она!

Он помнит — минули года —  
горячее слово «с т р а д а».  
Одни лишь копыта не в мыло  
и были, пожалуй, тогда.

Он помнит гульбу бороны  
на нивах родной стороны,  
и сошки мужицкой упрямяство,  
и ярость ременной струны.

Она обжигала огнем...  
Шел, горбясь, мужик за конем,

срывая тяжелую злобу  
за все неудачи на нем.

Он целил удары хитро,  
чтоб боль доставала нутро...  
Но лиха подолгу не помнил  
коняга —  
он помнил добро!

И то, как овес он жевал  
из торбы, когда уставал,  
как клевер — не то что корове! —  
хозяин ему задавал.

Как шубу ему, меринку,  
бросал он, свернув к кабаку...  
И верною службой за это  
платил он сполна мужику.

Случалось — нет, это не вздор,  
да молодцу быть — не укор! —  
его привозил он с базара  
чуть теплого только во двор.

А как горячил он умы  
на празднике русской зимы!  
Нет, девки визжали недаром,  
когда его грива пожаром  
пылала на две стороны!

А как он под звон бубенца  
катил молодых от венца!  
Казалось, вот-вот разорвутся  
от быстрого бега сердца!

Зеваки с обеих сторон  
сбегались, слышавши звон...

Но помнил, но знал он, коняга,  
и грусть неторопкого шага  
до кладбища в день похорон.

То в сани, то в бричку впряжен,  
на всякое дело — все он.  
Крестьянское благополучье  
держалось на нем испокон.

2

Как жить мужику без коня?..  
Случался пожар — из огня  
коня выручал он,  
от страха  
себя лишь рукой заслоня.

И даже тогда — не соврем, —  
когда все постройки огнем  
сметало, он духом не падал!  
Ведь конь оставался при нем!

И, вечные правя труды,  
не знал он страшнее беды,  
чем та, что его заставляла  
коня продавать от пужды.

И все же не раз меринку  
случалось на долгом веку  
идти за чужою телегой  
на торг по пути к городку.

И там — он не знал почему —  
цыгане в сивушном дыму  
его выводили на пытку  
и в зубы глядели ему.

Горланили: — Кляча, не конь! —  
И били в мужичью ладонь  
с размаху, как будто хотели  
из каменной  
высечь огонь!

И падала к черту цена!  
И дыбилась горя стена...  
В руках,



ослабевших внезапно,  
узда оставалась одна.

Размазав слезу по щеке,  
бедняга с уздой на руке  
до риз положения после,  
горюя, кутил в кабаке.

Желая хотя бы на миг  
забыться («Душа — не голик!»),  
неистово, как на поминках,  
кутил безлошадный мужик.

А сердце стучало ему:  
«Готовь ребятишкам суму!»  
И не было, не было дела  
до горя его никому.

3

Скупа, но отравно горька  
и жгуча слеза мужика.  
И если он плачет, то значит,  
беда у него велика.

В тот вечер был сильный мороз.  
Конь хрупал из торбы овес,  
не зная еще, что хозяин  
его записался в колхоз,

что должен он завтра с утра  
(лихая настала пора)  
кормильца его и поильца  
с телегой свести со двора.

И сбрую, и сено отдать  
в колхоз и — легко лишь сказать —  
уже не с в о и м вороного,  
а н а ш и м  
впервые назвать.

Лишь за полночь кончился сход.  
Конь слышал, как топал народ

по улке,  
как в избу хозяин  
вошел, постояв у ворот.

Как баба затеяла спор  
(она не спала до сих пор),  
как хлопнул хозяин дверями  
и вышел с коптилкой во двор.

Охалку сенца приволок,  
откинул навоз из-под ног...  
Утробным и сдержанным ржаньем  
ответил ему меринок.

Похлопал по шее слегка:  
ещь вволю, мол, дома пока..  
Сомненье и жалость, как тучи,  
клубились в душе мужика.

Как знать ему было тогда,  
что эта беда — не беда,  
что общим мужицким усильям  
скорей покорится нужда?

Что нет основанья тужить?..  
Но в нем продолжала кружить  
кровь прадедов наших,  
привыкших  
всегда на особинку жить:

пусть худо, пусть даже бедно,  
но помня присловье одно  
о том, что «своя-де рогожа  
соседовой рожки дороже»,  
как сказано было давно.

И если — пусть день тот далек —  
он все же сдержаться не смог,  
заплакал, кто нынче посмеет  
те слезы поставить в упрек?!

В них, в этих слезах мужика,  
не видимых издалека,

не слабость, а мужество было,  
да, мужество! Наверняка!

Еще не сдавалась родня,  
зверевшая день ото дня,  
и трактора не было слышно —  
железного брата коня.

Еще не заложен в тот год  
был ныне известный завод,  
завод, что теперь для деревни  
комбайны да жатки кует.

Еще сквозь событий метель  
чуть виделась гордая цель,—  
мужик таки, плюнув, решился  
и руку поднял за артель!

И замер... И дрожь по спине...  
И в той грозовой тишине  
начало конца этой песни  
о добром мужицком коне.

4

Год ми́нул потом. И другой.  
Раз как-то  
шел конь под дугой,  
а трактор навстречу под флагом  
катил, окружен мелюзгой.

Кричали мальчишки:— Смотри! —  
А он исторгал изнутри  
чудовищный грохот и дымом  
стрелял из железной ноздри.

Шел, в землю вонзая шипы...  
И встал, захрапев, на дыбы  
коняга и с возом с дороги  
метнулся, теряя снопы.

Был встречей он потрясен!  
А возчик, махнув на урон,

коня привязал к огороду  
и — марш за машиной вдогон!

Низинной, вода не вода,  
бежал напрямик, борода,  
взглянуть со сторонки на чудо.  
Да, чудом был трактор тогда!

Железный сородич коня,  
он вышел на поле, звеня,  
и вытянул борозду следом  
в четыре широких ремня.

И ахнул мужик:  
«Чудеса!»  
И два с половиной часа  
ходил, позабыв о коняге,  
за трактором, близ колеса...

5

Давно ль это было?!  
Вчера...  
И вот уж иная пора.  
В любой деревушке, как кони,  
хозяйственно ржут трактора.

И все же в краю молодом  
и пыно отстроенный дом  
венчают коньком деревянным —  
есть что-то сердечное в том.

Ов, конь, разделил до конца  
(порукой в том — предков сердца)  
и пахаря горькую долю,  
и ратную службу бойца!

На дымных проселках веков  
немало стоптал он подков  
и вытянул, вывез Россию,  
Россию — страну мужиков —  
из тьмы,

из болота пужды  
на свет пятикрылой звезды.  
И стерли моторы на нивах  
его вековые следы.

Не молкнет теперь ни на час  
в полях металлический лязг...  
Все верно: и то, что машина  
удобнее, чем тарантас;

и то, что недолго теперь  
осталось телеге скрипеть...  
И все-таки рано сегодня  
косяг отходную петь,

твердить про колбасный завод...  
Нет, он еще, конь, поживет!  
Не только работника — друга  
и радость в нем видит народ!

— Гей, милый! — И ветер в ушах...  
Дорога, как песнь, хороша!..  
Машина есть все же машина,  
а копь — он живая душа.

И коваль, в работе горазд,  
ему еще сменит не раз  
подковы... И русская тройка  
галопом размашисто-бойким  
потешит, потомки, и вас!

1960

## МАТЬ И ДОЧЬ

Прибежала с работы  
в избу, как на пожар.  
Пить до смерти охота,  
надо греть самовар.

Только бабе Алене  
не до чаю пока:  
под окошком теленок  
клянчит: «Да-ай молока!»  
Во дворе у калитки  
коровенка мычит,  
в стайке, как недобитый,  
поросенок кричит,  
овцы где-то пропали,  
а на улице ночь...

Злится: пальцем о палец  
не ударила дочь!  
Кличет: — Зойка! Зоюшка! —  
распахнувши окно.

А Зоюшка с подружкой  
убежала в кино.  
Ни к чему-то у девки  
душа не лежит.  
Как слышит припевки,  
бросит все, убежит.  
Да подальше от дому  
норовит: «Веселей!»  
Горе с дочкой: чужому  
порадеет скорей.

Обругаешь — упрямо  
отвечает одно:  
— Жить по-вашему, мама,  
в наше время смешно!  
Глянь, что пишут в газетах:  
к коммунизму идем!  
Вам же — только и света,  
что в хозяйстве своем.

Вам кусок бы поболе  
да покрепче запор...

Ох, обиден до боли  
бабе этот укор.  
Потому-то Алена  
каждый раз и ворчит...

Все еще не доёна,  
коровенка мычит,  
Подхватила подойник —  
и во двор... В кулаки  
зажимая ладони,  
потянула соски:  
вжик! — «Да стой же ты, дура!»  
Тихо, мирно кругом.  
Но Аленина дума  
о другом, о другом.

Сена нет для коровы.  
Сердце вот как болит!  
— До чего ж неваровый! —  
бригадира бранит. —  
Что бы дать хоть немножко  
покосить! Ни стожка,  
ни единой копейки  
за душой ведь пока.  
Зиму долгую снова  
пробивайся как хошь...  
Не вести же корову  
в самом деле под нож!

Репродуктор рокочет  
в доме. В клубе кино  
началось уже... Впрочем,  
ей не все ли равно...

1960

## У РЕКИ

*(По народным мотивам)*

Речка солнышком сверкала,  
а в реке девочка  
платье мыла-полоскала,  
колотила звонко.

У девочки ноги босы,  
руки белы, как белье.  
Ехал парень с сенокоса,  
загляделся на нее.

Молод был, но не дал маху,  
рядом встал на камень:  
— Постирай мою рубаху  
белыми руками!  
Пред тобой, моя отрада,  
не останусь я в долгу:  
дом построю, если надо,  
у реки на берегу!

И девочка разгадала  
парня с полуслова:  
— Сшей мне туфельки,—  
сказала,—  
из песку речного.

— Что ж! — потрянул он кудреватой  
разудалой головой.—  
Напряди мне только дратвы  
из росинки полевой!

Рассмеялась звонко: — Ох ты! —  
И, лукавя, снова  
загадала: — Сшей мне кофту  
из цветка живого!  
Лепесточек к лепесточку  
не спеша принорови.  
Да когда погонишь строчку,  
матерьяла не порви.



Согласился парень: — Ладно!  
Только попрошу я  
сослужить мне службу, лада,  
службу небольшую.  
Слышишь, звякает уздечкой,  
бьет копытом мой гнедой.  
Встань на камушек средь речки,  
Напой его водой.

Озорно взлетели брови:  
— Я исполню это,  
если ты мне дом построить  
сможешь до рассвета,  
чтобы окна, чтобы стены,—  
все в нем было изо льда!

Парню море по колено,  
отвечает парень: — Да! —  
И встает над грудой платья  
на плоту с ней рядом:  
— Разреши поцеловать мне  
руки твои, лада!

Обнял девушку за плечи  
и услышал от нее:  
— Разрешаю... до крылечка  
допести мое белье!

1960

## ПЕРВЫЕ УРОКИ

*Сергею Орлову*

Ликбез припомнился сейчас мне.  
Тогда меж делом, на дому,  
учились люди... Я причастен  
и сам к учению тому.  
По вечерам, как на работу,  
заботу ведая одну,  
я шел учить письму и счету  
Авдотью — мельника жену.  
Светились избы мутным светом.  
Я шел, достоинство храня,

нарочно мимо сельсовета,  
чтоб люди видели меня.  
Совсем малыш еще, нисколько  
не обижался я на то,  
что мне Авдотья помогала  
и дверь открыть, и спясть пальто,  
даря при этом мне улыбку...  
А я садился у окна  
и ждал, покачивая зыбку,  
пока обрядится она.  
Я ждал. Она дрова носила,  
гремела ведрами в углу,  
потом брала на руки сына  
и подвигалась с ним к столу.  
Смолкал, на радость мне, мальчишка,  
поймавши розовый сосок.  
А я давал Авдотье кпизку  
и начинался наш урок.  
Урок. Теперь уж чувств тех самых,  
наверно, я не передам,  
когда впервые слово м а м а  
она читала по складам.  
Когда, старания и веры  
полна, она в свою тетрадь  
писала трудные примеры:  
и дважды два, и пятью пять...  
Мы с нею многое умели,  
мы с нею многое могли.  
Но приходил с работы мельник,  
весь, до бровей, в мучной пыли.  
Авдотья тотчас убирала  
свою тетрадку и, пока  
он мылся, быстро накрывала  
нехитрый стол для мужика.  
— И ты поел бы, скоро — восемь...—  
И угощала пирожком.  
И подпоясывала после  
меня отцовским ремешком,  
совала в руки мне конфетку...  
И я, идя домой, опять  
решал, какую же отметку  
Авдотье выставить в тетрадь...

1960

## СЛУЧАЙ НА РЕКЕ

*(Из стихов для детей)*

### I

Вот быль, ребята, про Фому.  
...Возле реки широкой  
Мы с ним живем в одном доме —  
Река видна из окон.

Лет пять уже друг друга мы  
На лестнице встречаем.  
И я в квартире у Фомы  
Не раз сидел за чаем.

Он дома — мальчик хоть куда!  
Не скажет слова громко.  
Но выйдет из дому — беда:  
Преобразился Фомка.

На крышу влезет вдруг —  
  хоть плачь!  
А то по тротуару  
Начнет гонять футбольный мяч  
С дружкой своим на пару.

Запустит в лампочку снежком,  
Помяв его в ладошке.  
Чтоб не идти домой пешком,  
Повиснет на подножке.  
Через забор залезет в сквер.  
Но если он заметит,  
Что рядом ми-ли-ци-онер, —  
Помчится словно ветер!

— На что милиция нужна? —  
Он в спор вступал со мною. —  
Ребят пугать?!

...Но вот она,  
История с Фомою.

## II

Морозный выдался денек.  
Бело от снега в поле.  
И вот уже второй звонок  
Звенит в начальной школе.

На месте все ученики:  
Кто пишет, кто считает...  
А наш Фома, надев копытки,  
То поперек, то вдоль реки  
Одни  
По льду летает.

И словно ропщет тонкий лед  
На шалуна мальчонку.  
Пред ним он горкою встает,  
Потрескивая звонко.

А вдалеке, над быстриной,  
Гудит, стреляя грозно:  
«Уйди, Фома, скорей домой,  
Уйди, пока не поздно!»

Но он не слышит на беду,  
Кружится где попало.  
И вдруг... и вдруг на тонком льду  
Фома не стало.

С березы, как ворчуп-старик,  
Прокаркал ворон громко:  
«Карр! Провалился озорник!  
Карр! Тонет в речке Фомка!»

И в самом деле,  
Прорезал крик: — Тону! Тону!

Сбежался к берегу народ.  
Иные прямо с ходу  
Отважно бросились на лед,  
Но провалились в воду.

Не держит лед. Вода кругом.  
И в этот миг суровый  
Фома на берегу другом  
Увидел постового.

Оп, взяв в расчет непрочный лед,  
Вмиг подбежал к лодчонке,  
И лодка двинулась вперед  
На выручку мальчонке.

— Топу! — несло с реки. — Топу! —  
Казалось,  
в самом деле  
Вот-вот пойдет Фома ко дну...

Но человек в шинели  
Ему:  
— Держитесь, гражданин! —  
Кричал и, на подмогу  
Спеша, умело среди льдин  
Прокладывал дорогу.

— Держись! Я рядом!..  
Молодец! —  
Фома в ответ — ни звука.  
Фома измучился вконец.  
Едва положит руку  
На лед —  
А лед из-под руки...

Пролом все шире, шире!  
И тянут вниз Фому копытки,  
Тяжелые, как гири.  
И все трудней, трудней ему  
Держаться: душит холод.  
Но постовой через корму  
Успел поймать-таки Фому  
В последний миг  
за ворот!

Весь посиневший,  
в лодку он  
Едва перевалился,  
Успев подумать лишь:  
«Спасен»,—  
И тут же чувств лишился.

А лодка к берегу пошла,  
Вбирая воду в щели...  
Тепла Фоме!  
Скорей тепла!  
И человек в шинели,  
На берег выбравшись с трудом  
(Все ж затонула лодка!),  
Отнес Фому в ближайший дом...

А что же было с ним потом?  
А дальше было вот как...

### III

Через час очнулся Фома.  
Было в комнате тихо-тихо.  
У стола в халате «врачиха»,  
Рядом с нею —  
Мама сама.

Неужели это не сон?

Он лежит,  
С головой укутан,  
На высокую печку чью-то  
Неизвестно как вознесен.

Спал бы, кажется, тут и спал...  
Сверху мягкая греет шуба,

Снизу печь припекает — любо!  
Только как он сюда попал?

На веревке — его штаны,  
И пальтишко, и... Все как дома.  
Только ходики незнакомо —  
Слышно — тикают со стены.

Чай горячий дымится в чашке:  
Вот он, в двух от него шагах...  
Только кто там опять  
в фуражке  
И начищенных сапогах  
Поднимается на крылечко?

Вздروгнул Фомка.  
На этот раз  
Захотелось ему сквозь печку  
Провалиться.  
«Войдет сейчас!» —  
Догадался.  
И верно, скоро  
Постовой на порог шагнул:  
— Где он тут, гражданин, который  
Нынче утром в реке тонул?  
Не болит ли что у него?..

Мама — в слезы вдруг...  
А мальчонка  
Из-под шубы взглянул волчонок  
На спасителя своего.

Испугался он, скажем прямо:  
Вдруг да гость-то за ним!  
А тот  
Сел на лавку, утешил маму:  
— Сто годов Фома проживет! —  
И добавил, на печку глядя: —

Мы друзья с ним теперь  
навек!

«Ну и дядя! Вот это дядя!  
Замечательный человек!»

Речка встала перед глазами,  
Льдом затаенная едва.

И рванулись из сердца сами  
Непридуманные слова:

— Я согласен  
Быть вашим другом!  
Я здоров...  
И мне хорошо!

Фомка шубу отбросил в угол,  
Глянул с печки...  
А гость ушел.

1960



# 1961

\* \* \*

Стихи мои о деревне  
и радость моя, и боль!  
Кто зову земли не внемлет,  
едва ль вас возьмет с собой  
в дорогу — развеять дрему...  
Глухому к земле, ему  
стихи про Фому-Ерему,  
сермяжные, ни к чему.  
Томов со стихами — груда.  
А в тех, говорят, томах  
что ни страница — чудо,  
что ни куплет, то ах!  
Поваторские, блестящие,  
строка о строку звенят,  
А вы, мои работающие,  
в пыли с головы до пят.  
Не очень-то вы нарядны  
и — где уж там! — не модны.  
Вы будничны, не парадны...  
И все-таки вы нужны,  
я верю, тому, кто в поле  
упрямо растит зерно,  
чьи с коих-то пор мозоли  
в стихах поминать грешно...  
Старо и неблагозвучно!  
Да полноте, остряки!  
А ваши-то белы ручки  
не потому ль мягки,  
что эти не в меру каменны —  
не руки, а жернова!  
В мозолях все, как в окалине...  
Нужны ли еще слова!  
Добры, горячи по-русски  
и грубы на первый взгляд,  
корявые эти руки,

красивые эти руки  
и впрямь чудеса творят!  
Держите ж голову гордо,  
стихи мои! Мы и впредь  
о них, не жалея горла,  
по-своему будем петь!

1961

## В ГОРОДЕ

Мать приехала в город к сыну.  
Нет, не в гости на этот раз,  
На высокий этаж насилу  
С сыном под руку поднялась.  
Полпролета пройдет — и станет,  
Воздух меряя на глотки,  
Не снимая с перил усталой,  
В синих жилах, большой руки.

Глухо сердце больное билось,  
А ступеньки все вверх вели.  
И чем ближе до неба было,  
Тем все далее до земли,  
По которой, чтобы скорее,  
Столько хожено босиком...

Как же жить ей теперь  
Над нею,  
Словно облако, высоко?

И едва отошли морозы,  
Стало солнышко припекать,  
— Как-то в нашем теперь колхозе?.. —  
Вслух однажды вздохнула мать.  
К шуму города безучастна,  
Стала тихой — не ест, не пьет.  
Словно старую птицу,  
Властно  
Потянуло ее в отлет.

Сын балкон распахнул:  
Гляди, мол,  
Мама, город растет какой!  
Талым снегом пахнуло,  
Дымом  
Домен, выросших над рекой.  
Небо заревом полыхало.

И сказала она в ответ:  
— Пароходы пошли, слыхала...  
Ты б купил мне, сыноч, билет.

1961

\* \* \*

Еще свежо и мглисто.  
Но всяк уже поймет:  
деревьям снятся листья  
все ночи напролет.

Пройдет еще неделя,  
и за травюю вслед  
листочки в самом деле  
проклюнутся на свет.

Уж то-то праздник будет!  
...Стоят деревья. Ждут.  
Они весной, как люди,  
надеждою живут.

1961

## ПРЕОДОЛЕНИЕ

(Поэма)

### 1

С говорком да смешком —  
«Быть чему-то — пронюхали!» —  
перли в клуб — кто пешком,  
кто, навалом, в санях...  
Сапожищами бухали  
по-медвежьи в снях.

Занимали места  
в зале стайками, кучками.  
И совсем неспроста,  
без почтения бывшего  
с председателем ручкались,  
говорили: — Здорово!

Что ж, мол, брат... Слышно, брат,  
гости едут маститые.  
Кайся, в чем виноват,  
лишку зря не мели.  
Изберем заместителем —  
бога, Рюмин, моли.

А в глазах мужиков  
огоньки нетерпения:  
кто он, новый? Каков?  
Пьющий али непьющий?  
Кто возглавит правление —  
черт ли, ангел ли сущий?

А в углу Фомичи —  
из Дубровки братапики —  
записные рвачи,  
медно-красные с браги,  
возглашали: — Без паники!  
Ни к чему нам варяги.  
На смотринах, известно, —  
острили они, —  
хороши все певесты,  
после — ведьмы одни!

\* \* \*

Вышел он вместе с Рюминым.  
Галстук тронул, смущен...  
А ряды поугрюмели,  
даже ахнули... Он  
молод был удивительно,  
вызывающе...

— Ха! —  
Шеи красные вытянув,  
словпо два петуха,  
ухмыльнулись злорадные  
Фомичи из угла. —  
Для такого нарядного  
сажа — наши дела!

И замолкли решительно.  
А охотник Егор  
кашлянул выразительно —  
вот и весь разговор.  
Что Егор! Даже женщины —  
в зале их большинство —  
стихли вдруг, недоверчивый  
кинув взгляд на него.  
Кто-то лоб потер озабоченно,  
кто-то спичку сломал...

Что ж, Валерий их, в общем-то,  
хорошо понимал.  
Не одну уже голову,  
дабы лучше жилось,  
этой шапкой тяжелою  
им венчать довелось.  
Плюнь сейчас — обязательно  
угадаешь... в кого?  
Или в экс-председателя,  
или в зама его.  
Ничего необычного  
в этом нет: тяжела  
и посланцу столичному  
эта шапка была.

Так легко ли довериться  
им зеленому деревцу,  
коль под этою шапкою —  
не подлесок какой! —  
лес, как в бурю, пошатывало,  
гнуло лес строевой.

Нелегко... Но потрафила,  
молодой агроном,  
им твоя биография,  
твой высокий диплом.  
И, суров, перед братьями  
встал охотник Егор,  
чтобы дать прорицателям  
из Дубровки отпор.  
Вскинул бороду черную  
и под взмах кулака  
отчеканил: — Ученого  
надо нам вожака!  
Молод, скажете? Даром!  
И добро, что не стар:  
человек не с базара  
едет, а на базар.—  
И, взглянув на Валерия,  
улыбнулся ему.

Согласились. Поверили.  
Еще одному...

2

С утра — работа не ждала —  
Валерий принимал дела.  
Знакомо было все. И просто.  
И только круглая печать  
легла в ладонь, как знак вопроса,  
как сам вопрос: «С чего начать?»  
Немного было за плечами:  
лишь институт да две страды,  
да малость радости вначале,  
да через край потом беды.  
Но в полбеды беда, коль рядом  
начальство: вместе отвечать...

А тут — один себе... И надо  
с чего-то все-таки начать.

Подумал: может быть, с земли?  
А может, все-таки с парода?  
Но мужики за эти годы —  
он это знал — огни и воды  
и академии прошли.

Район «хромал». И руководство  
«в борьбе за мясо-молоко»  
то жало на животноводство,  
то, что есть сил, на птицеводство,  
сбивая с толку мужиков.  
А то, забыв про все иное,  
взывало: надо штамповать  
горшки из торфоперегной,  
дабы начать преуспевать.

Трубило радио про эти  
печальной памяти горшки,  
статьи печатали газеты  
о них и местные поэты  
писали бодрые стишки...

Едва свалили с плеч обузу,  
взялись за дело веселей —  
приспел поход за кукурузу,  
за государыню полей.  
Райком порол горячку: сеять!  
И слал на помощь горожан.  
А между тем никто доселе  
ее не то что не сажал,  
а и в глаза не видел сроду...

И все ж, как это ни смешно,  
в поля, не глядя на погоду,  
везли ее — не знали броду,  
а лезли в воду все равно.  
Где рано сеяли, где поздно,  
старались глубже, для тепла,  
могилы делали — не гнезда,  
и кукуруза не взошла.

Хоть те участки в перепашку  
пошли — беда не велика,—  
по веру в дело — вот что страшно —  
убили в сердце мужика.

А вот уж кто-то новым делом  
увлечь колхозы поровит  
(на гениальные идеи  
иной как кролик плодовит).  
И потому, видать, как только  
вопрос о мясе встал всерьез,  
поднялся этот самый кто-то  
и слово «кролик» произнес.  
Что прятать дело в долгий ящик?  
Ведь это ж верный капитал!  
И очепь скоро дух кролячий  
все школы даже пропитал.

Шумели: — Ох как знаменито! —  
Ребят хвалили: — Молодцы! —  
Но и кролячья плодовитость  
не помогла свести концы.

Тогда взялись за укрупнение.  
Вопрос поставлен был ребром:  
— Что за колхоз — две-три деревни?  
Тоска одна...—  
И грянул гром!  
Без писанины протокольной  
сливали пашни и сады,  
кто победнее — добровольно,  
кто побогаче — от нужды.  
А в общем весело и бурно,  
и, глядь, уже иной колхоз  
собой границы Люксембурга  
в три раза с гаком перерос.  
«Сосновка», правда, не держава —  
всего лишь тридцать деревень,  
а не объедешь тоже в день,  
как бы лошадка ни бежала.

— И все ж,— решил Валерий,— надо,  
пожалуй, с этого начать.



Поеду в дальние бригады! —  
И встал. И запер в стол печать.

3

Нет, изба не коврами  
и теперь убрана.  
Но зимой вечерами  
все ж уютна она.  
Не затем, чтоб похвастать, —  
по привычке скорей, —  
пол в ней радугой застлан,  
домотканой, своей.  
А в простепках — картипы  
(дорог сердцу уют):  
десять штук на полтинник  
их в сельмаге дают.  
Выше — снимки служивых  
висят на стене:  
тех, которые живы,  
тех, кто пал на войне.  
Пал в неведомых далях,  
в незнакомых местах.  
Гимнастерки — в медалях,  
мундиры — в крестах.

Рядом с богом опальным  
занимают места  
в рамках грамот похвальных  
три-четыре листа.

Что еще там? Портреты...  
Русской печки бока...  
И газеты, газеты  
во всю ширь потолка.

Встанешь, вытянешь шею —  
пачитаешься — во! —  
обязательств, решений  
и стишков сверх того.

А еще среди ночи  
слух твой вдруг различит,

как копытцем молочным  
теленок стучит,  
как ягнята на печке  
в сенном кузовке  
на своем на овечьем  
говорят языке.

А под утро, под утро  
из-под печки, горласт,  
раньше, чем репродуктор,  
кочет голос подаст.  
И конечно же раньше,  
чем проснется Москва,  
в печке тихо, домашне  
запылают дрова.

И затопают ноги  
от печи до ворот:  
меньше стали налоги —  
больше стало хлопот.  
На дворе чуть не десять  
животов — поспешай:  
на правленье надейся,  
а сам не плошай!

Успевай где что надо...  
Бригадир через час  
Постучится с нарядом,  
тоже дело припас.  
— Время! — скажет с порога,  
строже день ото дня.  
Слава господу богу,  
что в отставке квашня,  
что готовы всечасно  
в магазине хлеба...

Между берегом частным  
и колхозным  
на части  
так и рвется изба!

Шли две бабы за водой,  
и одна сказала: — Чуешь?  
У охотника ночует  
председатель молодой. —  
Говорила по секрету,  
но — бывают чудеса! —  
вся деревня тайну эту  
знала через полчаса.

Только сели за пирог —  
бригадир через порог.  
Только вилкою на рыжик  
гость нацелился — изволь! —  
кум Иван — мужик бесстыжий —  
в дом ввалился: — Хлеб да соль!  
— Хлеба исть... — Егор ответил,  
недовольство скрыв с трудом.  
(«Не дадут, как видно, черти,  
побеседовать ладом».)

Сели. Ждут. Цигарки крутят.  
Прав, конечно, был Егор:  
не вязался почему-то  
поначалу разговор.  
Но когда про землю начал  
их пытаться заезжий гость,  
сразу все пошло иначе:  
слово к делу привилось.

— Ты про землю, значит? Ладно.  
Я отвечу, не спеши. —  
Начал кум. — Пускай не складно,  
но зато от всей души!  
Не совру перед друзьями...  
Раньше — слушай, голова, —  
было так: каков хозяин —  
и земля такова.  
Мудро сказано, ей-богу!  
Поговорке тыща лет.

А теперь — земли-то много,  
а хозяина и нет.  
За деревню выйдешь летом —  
рожь, к примеру, у ручья.  
Рожь... а ржи-то, брат, и нету...  
Чья работа? А пичья.  
Наша! Некого похаять:  
Миколай навоз возил,  
Ванька с Филькою пахали,  
Митрий вроде боронил.  
Ковыряли землю в меру  
все, и всем была она,  
как кому-нибудь, к примеру,  
пелюбимая жена.  
И живет он с нею рядом,  
тянет лямку — обручен!  
Но не сердцем, как бы падо,  
ощущает, а плечом.  
Женка, ясно, злится...  
Впрочем,  
злится, лежа на боку.  
Но земля — она жесточе  
мстит за это мужику!  
Мы ей наше непочтенье,  
а она нам на беду  
непотребное растенье —  
и осот, и лебеду.

— Это правильно, — Егор  
вставил слово в разговор, —  
Это так! Земля от века,  
мысля я, имела власть  
над душою человека —  
да еще какую! Страсть!  
Уважал ее мужик,  
понимал ее мужик.  
Кроме силушки да пота,  
он земле любовь дарил.  
И не просто так работал,  
а, работая, творил!  
И когда его творенье —  
полоса отменной ржи  
разливалась за деревней

от межи и до межи,  
высока — других забила! —  
и густа — стена стеной! —  
мужику приятно было,  
даже очень, брат ты мой.  
Заблудиться в экой ржи-то  
впору — как не будешь рад.  
Ты мне скажешь: пережиток!  
Ты мне скажешь: шаг назад!  
Устарело, не годится...  
Что ж, я знаю лишь одно:  
делом рук своих гордиться  
человек привык давно.

А у нас все как-то комом,  
А у нас в Дубровке оп  
этой гордости законной,  
этой радости лишен.  
Потому и толку нету  
от земли-то. В этом суть.  
В общем, нам бы радость эту  
как-то надо возвратить.  
Как? Подумать — ваше дело.  
А у нас от этих дум,  
глянь, деревня поредела,  
будто ветер избы сдул.

Замолчал. Газетки угол  
на сигарку оторвал.  
— А земля в сравнение с югом —  
я на юге воевал, —  
верно, здесь не торовата...  
Но и все-таки она,  
матушка, не виновата  
в том, что хлебом не богата  
нынче наша сторона.  
Не виновна! Каждый скажет:  
стоит руки приложить —  
все родит она, и даже  
кукурузу, может быть.  
У меня вон в огороде  
летом вымахала — во!

Ладно. Все сказали вроде,  
не забыли ничего.  
Может, даже лишку с пылу  
что-то ляпнули, прости.  
Мы ж к тому, чтоб легче было  
воз-то на гору везти.

5

Для тетки Дуни собственная печь —  
трибуна и бесплатный санаторий.  
Едва взберется — и затараторит,  
согреет пятки — и закатит речь.  
Добро и лихо — все переберет  
и критику такую развернет,  
поистине на лица не взирая,  
что, верь хоть нет, разинешь рот,  
от любопытства острого сгорая.  
В избе у тетки Дуни только кот,  
да вот уж скоро год  
учителька Лариса квартирует,  
и потому Авдотья не горюет.  
— Валерий-то Павлыч, — напевает Ларе, —  
чем тебе не пара, чем тебе не парень?  
Лучше станешь искать — не пайдешь, поверь мне...  
Был сегодня опять у девчат на ферме.  
Величал всех на «вы». Вот культура!  
Вы, мол, Шура, правы, молодец вы, Шура!  
Ну а Шурка головы не подымет, дура... —  
Лариса сидит за столом, у огня,  
и чертиков, голову паклоня,  
на промокашке рисует,  
как будто Авдотьяна болтовня  
ее не интересует.  
Но Авдотья-то отлично  
знает цену, ей-же-ей,  
папускному безразличью  
собеседницы своей.  
Для нее, для сводни старой,  
между нами говоря,  
молодое сердце Лары,  
как страничка букваря.

— Брось ты, девонька, танься,  
вижу, парень по душе.  
Ой, недаром говорится,  
с милым рай и в шалаше!  
Не с того ли ты про город  
стала реже толковать?  
Лейтенант приедет скоро?  
Ну и пусть! И наплевать!  
Пусть приедет... Наш Валерий  
лейтенанту не чета,  
иль Авдотья в этом деле  
уж не смыслит ни шута...

6

Ах, денек! Словно взрыв — солнышко в тумане.  
Рубят новые дворы мужики-крестьяне.  
Как капусту крошат, силушки не жалко.  
Рукавицы под кушак заткнуты — жарко!  
— Труд на пользу, мужики! Две руки. Три руки... —  
председатель шутит. — Выше поднимайте потолки!  
Чтобы счастье себе шею не сломало,  
чтоб оно по избе в полный рост ступало. —  
Черт сидит в мужиках, отвечают смело:  
— Кабы дело в потолках — не за многим дело.  
— Ясно, в чей огород камушек брошен...  
До чего ж вы народ, мужики, дотошный!  
Председатель — голова делу. Верные слова.  
Ну а разве тетка Дуня меньше вашего права?  
— Ветер-баба, — буркнул плотник.  
— Но зато язык остер...  
Вот как думает Авдотья:  
дело всякое — костер.  
И чтоб в нем огонек не потух — пужпо  
всем в один уголек дуть дружно! —  
Хохотнули: — Знаем Дуню! Языком легко плести.  
Загасил да плюнул — попробуй засвети.

7

«Здравствуй, батя! Во-первых,  
не ругай: знаю сам,  
что уж с месяц, паверно,

Я тебе не писал.  
Выбрать время — не просто:  
тут — прорыв, там — пробел,  
куча жгучих вопросов,  
неотложных проблем.  
Говоря откровенно,  
здесь своя целина,  
и нисколько, наверно,  
той не проще она.  
Есть в краю этом сила!  
Не случайно же оп  
землеробов России  
привлекал испокон!  
Не от нечего делать  
в край вот этот глухой  
шли упрямые деды  
с топором да сохой,  
вырубали у речки  
вековые леса,  
чтобы в рост человечий  
встала ржи полоса,  
чтобы льном да горохом  
зацвела, веселя...  
И родила не плохо  
все же эта земля.  
Ново ль это, не ново:  
здесь — моя целина!  
И свое еще слово  
не сказала она.  
Не сказала,  
                                по скажет.  
Скажет! Дай только срок...  
Ах, какой тут однажды  
получил я урок!..

В общем, пам бы в достатке  
механизмов сюда —  
мы б тогда по сопатке  
допотопной лопатке  
и в музей — навсегда!  
Да и вилам навозным  
обломали б рога...



Хватит. Поздно. Морозом  
громыхает тайга.  
Но весна уже, батя,  
рядом... Скоро — **страда**.  
Ну а твой **председатель**,  
совершенно **пекстати**,  
взял — влюбился... **Беда**.  
Есть одна тут такая...  
Сев закончу — **женюсь**!  
Но об этом пока я  
думать даже боюсь...»

8

Вошел. Она была **одна**.  
Сказала, сдержанно-**сурова**:  
— Вот не ждала! **Наверно**, снова  
я лекцию прочесть **должна**?  
К примеру, о **стиранье** граней  
меж городом и меж **селом**...—  
И пододвинула **тетради**.  
И вповь склонилась **над** столом,  
платок набросивши **на** плечи:  
мол, извините, есть **дела**...  
Да, слишком долго **этой** встречи  
она ждала.  
И вот сейчас, ему в **отместку**  
за все, за все, во **всем** права,  
она насмешливые **дерзко**  
пошла швырять в **него** слова.  
Она скучает? Да, **скучает**!  
Не ходит в клуб? **Была** нужда...  
Ее Авдотья **выручает**,  
ей веселее с нею. Да!  
Коровник **вымахали** — любо  
глядеть! И прочие **дворы**  
добры... И только **вместо** клуба  
избушка — вроде **конуры**.  
А рядом белою **ракетой**  
храм божий. Блещут **купола**...  
Да, впрочем, что она **об** этом!  
Ведь у него важней **дела**...

Лариса встала. Модный свитер  
одернула. И, вскинув бровь,  
добавила: — А не хотите,  
я предскажу вам, Бочаров,  
что будет с вами?

— Интересно.

— Сначала — год, а может быть,  
и больше — это неизвестно —  
самоотверженно и честно  
вы делу станете служить.

Потом... потом, когда поймете,  
что не прожить, коль не приврать,  
вы «комбинировать» начнете,  
«очки» при случае втирать,  
как ваш предшественник...

А после,  
поскольку совесть не чиста,  
начнете пить... А дальше просто:  
вас снимут с этого поста.

— Ну что же... — с горькою усмешкой  
ответил он. — Благодарю.

А я-то здесь искал поддержки...

Да, впрочем, что я говорю?

Зачем? — И встал. Но у порога  
помедлил чуть: — Одно скажу,  
что я о будущем во многом  
иначе все-таки сужу.

Мечтатель? Может быть, мечтатель...

Не спорю. Но ведь без мечты  
мы и теперь не взяли б, кстати,  
той, межпланетной, высоты.  
Сидели б до сих пор под горкой...

А что касается меня —  
отвечу старой поговоркой:  
уж если падать — так с коня!  
Прощайте, — подал руку, — утром  
я еду в город. На актив. —  
И вышел, трепета как будто  
в ее руке не ощутив.

Загуляли Фомичи, да что-то  
 нет веселия былого за столом.  
 Пили первую — колом,  
 и десятую — колом!  
 Умываясь пьяным потом,  
 толковали о былом.  
 Толковали, горевали  
 черти недобитые,  
 кулаками подпирали  
 челюсти небритые.  
 Дергали за лацкан пиджака  
 дорогого гостенька,  
 пынешнего зама,  
 говорили прямо:  
 — Подвезло тебе, Петро.  
 Все-таки у власти.  
 Ну, а нас — под ребро,  
 Ну, а нас — насмерть!  
 Говорит: «Навоз вози».  
 Это мне-то, бригадиру!  
 Ой ли, пе грози,  
 коли хочешь миру!  
 Не грози, в бога, в дым!  
 Думаешь, все? Думаешь, крышка?  
 В ноги ты еще, мальчишка,  
 нам поклонись, худым!  
 Рюмип, друг... Вот тут болит нестерпимо.  
 Эх, нам бы... Петя, тряхни стариной,  
 выдай ржи мужикам на пиво!  
 — Семенной!  
 — А хотя бы и семенной!  
 Не робей, пока Бочарова  
 пету... Дескать, скормил коровам.  
 Свиньям, дескать... И шито-крыто!  
 Он-то как? Не забуду вовек!  
 Нет, еще не конец игры-то,  
 пог-годи, молодой человек!  
 Погоди, и тебя зауздают,  
 и ты, милейший, заплывешь ужо,  
 как сверху-то, значит, нажмут, да надавят,  
 да дернут — то левой, то правой вожжой...

Запляшешь! И ручки-то белые тоже,  
хе-хе! замараешь. Поди, не святой.  
Тогда мы игру-то и подытожим,  
и точку поставим! Без запятой!

10

Как из-под выстрела сорока,  
летела Дуня до порога,  
летела Дуня из гостей,  
тащила короб новостей.

Еще и валенок промоченных  
не сбросив — оттепель была, —  
сверкнула черными сорочьими,  
и крышку с короба сняла.  
И ну давай перед Ларисою —  
чем дальше, тем все горячей,  
все вдохновеннее расписывать  
дела братанов Фомичей.  
— Мол, ты подумай только, девонька,  
ты только, мол, вообрази,  
что два брательника-бездельника  
да Петька Рюмин, паразит,  
вновь учудили... Ну, компания!  
Решили — с места мне не встать! —  
тишком, без всякого собрания,  
рожь — семенную рожь! — раздать.  
О боже! Так и поровят  
в людское счастье не краюхою  
упасть —  
свалиться дохлой мухою,  
и для чего душой кривят!  
Мол, мы для всех. Мол, как полезнее.  
Мол, чтоб не каялись потом...  
А сами так колхоз заездили —  
хоть о дорогу хомутом!  
Не жнут, не пашут, краснорожие,  
а, смотришь, весело живут.  
То дымовые — печку слѣжили, —  
то встречные, то подорожные,  
то черт поймет какне пьют!  
Живут, на диво всем, удачливы.

192

В селе живут ведь, а руки  
 в земле давным-давно не пачкали...  
 Да нешто это мужики?  
 Крестьяне?  
 Нет, уроды, стало быть.  
 Жулье отъявленных мастей!  
 И молодец Валерий Павлович,  
 что снял обоих с должностей.  
 Давно, давно бы дать пора  
 ума им с заднего двора!  
 Ужо вернется сам из области,  
 узнает — им несдобровать...  
 А у тебя какие новости?  
 Да брось ты, девонька, скрывать.  
 Что лейтенант-то?  
 Я у матери  
 была. Толкует, что Вадим  
 на Май приедет обязательно...  
 Что ж, пусть приедет!  
 Поглядим!

11

Ух, мороз! Пуржило всю дорогу...  
 Как ледышка выпал из саней.  
 Но за чаем отошел немного —  
 и в контору: не был восемь дней.

Вот и дверь. Ступил через порожек:  
 дыму-то! Не видно ничего.  
 Улыбнулся: значит, люди все же  
 ждали возвращения его!  
 Коммунисты.  
 Секретарь парткома.  
 И Егор, и тетка Дуня тут...  
 Смотрят, улыбаются знакомо.  
 Ждут!  
 Ждут. Ему-то ведомы вопросы!  
 Ждут. Ему известны их мечты!  
 Что он скажет, чтоб передалось им  
 ощущение высоты?  
 Что он скажет?..

Вспомнились доклада  
твердые и ясные слова:  
подтянуть деревню надо...  
Точно, надо. Партия права!  
Надобно утроить гул машинный  
в селах — такова сегодня цель...  
Подобрили старые морщины  
у Егора на лице.  
Дуня, развязав платочек — душно! —  
все ж не хочет выйти на крыльцо.  
Навострилась — ушки на макушке, —  
ловит каждое словцо.  
Да одна ль Авдотья!  
И, возможно,  
потому Валерия сейчас  
даже этот самый случай с рожью,  
собственно, не очень огорчал.  
Ведь не сдали все-таки амбаров  
с семейною рожью Фомичам  
мужики... И, значит, он недаром  
жил, недосыпая по почам.  
Значит, пет былого безразличья!  
Значит, прошлым бедам вопреки,  
снова не одним усадьбам личным,  
а колхозу верят мужики.  
Верят — потому и поднимают  
на братанов критики топор!  
Верят — потому и закипают,  
чуть земли коснется разговор!  
— Да, мол, старики не все умели...  
Но пасчет того, чтоб от земли  
взять сполна, —  
ого, брат! — в этом деле  
деды были короли!  
— Верно, брали... Но какой ценою?! —  
Спорит Бочаров со стариною. —  
Нам же, в наш индустриальный век,  
следовало б парой рук — одною! —  
хлеб растить на тыщу человек.  
Ешьте, люди добрые, в охоту!..  
Вот сейчас какие «короли»  
пам нужны!  
Но падо, встав в ворота,

опустить шлагбаум хозрасчета  
перед обезличкою земли!  
Чтоб она, земля, на самом деле  
матерью для каждого была...—  
Чуть не до полуночи галдели  
мужики, усевшись вокруг стола.

12

— Черт возьми, секретарь! Скоро Первое мая!  
Города зашумят, кумачом полыхая...  
А деревни? Ну, наши, к примеру, места?  
Что? Народ не советский? Держава не та?  
Или руки, что вилы вздымают да грабли  
да ворочают землю,— для древка ослабли?  
Или ветру не хватит, чтоб взмыть кумачу?..  
Понимаешь, чего, секретарь, я хочу?  
Пусть бригады пройдут, салютуя друг другу,  
по полям со знаменами, прежде чем с плугом!  
И с гармошкамц, да! В этом нету греха.  
Запылились, паверно, гармошек меха.  
Соборемся у клуба. Доклада — не надо.  
Всем — спасибо. А лучшим из лучших — награды.  
После — танцы. Для старых и малых — кино...  
И, копечпо, буфет. Решено? — Решено! —  
А наутро, не в силу, конечно, повестки,  
пестротою платков зацвели перелески.  
Громко хромки в полях зазвенели под утро,  
засверкали в кумач клапана перламутром.  
На заборе мальчишек-воробышек стая:  
— Вон вторая идет! Поглядите, вторая!  
— Вон дубровские прут! Под гармонь. Красота! —  
Возле клуба машина. Открыты борта.  
И встает Бочаров на машину, сияя:  
— Люди добрые, с праздником Первого мая! —  
И зовет из толпы бригадира второй:  
— Подпимайся сюда, на трибуну, герой! —  
Тот, торжествен — такое случается редко,—  
пожимает ладонь председателя крепко,  
и, как должное, кепку сорвав с головы,  
зная в сильные руки — правленцы правы! —  
принимает, и ставит его у плеча,  
и целует веселый огонь кумача.

Спизу — крики. Ладоней раскатистый гром.  
 — Отберем! После сева опять отберем! —  
 А поля, с четырех от трибуны сторон,  
 словно шапки, кидают под небо ворон.  
 Ветер зпамя полощет... Но вот уж доярки  
 получают из рук Бочарова подарки.  
 Первой Шура к трибуне идет, смущена.  
 Что-то хочет сказать — и не может она.  
 — Спой, — кричит ей Авдотья, —  
 смущаться-то брось!  
 Мол, не дорог твой подарок —  
 Дорога твоя любовь!  
 — Верно, Дуня! — смеется народ белозубо.  
 И полощется Красное знамя над клубом!

Чуть рассвело — дорога снова  
 его на поле увела.  
 Земля была почти готова.  
 Землица пахаря ждала.  
 В Дубровку за день до почина  
 решил заехать он и вот  
 увидел — что за чертовщина! —  
 Дубровка пляшет и поет.  
 — Шумел камыш!.. — что было духу  
 старик на улице басил,  
 бредя под ручку со старухой...  
 Какой комар их укусил?  
 В ответ старик, как будто вату  
 жуя, невнятно промычал:  
 — У-чи... учителку сосватал  
 сынок Ивана Фомича.  
 Во, паря, свадьба! — охнул тяжело. —  
 А пироги... А сапоги  
 у лейтенапта! А фуражка!.. —  
 Упал. — Старуха, помоги!  
 — Сосватал? — выдохнул Валерий.  
 Не мог сдержаться он, не мог.  
 Крыльцо... «Зачем иду я?» Двери...  
 Рванул! Шагнул через порог.



В доме, как в улье: смех, говор, чад.  
Сорок — на стульях да сорок торчат.  
Торчат, глядят, как гости едят,  
как жених с невестой  
вино сладят.  
Слушают, что бает женихов отец:  
— Гляньте-ко, бабы, каков молодец!  
Как яблочко на блюде... А кровь-то чья?  
Моя!

А кто вывел в люди? Кто выучил? Я!  
Не я ли, не батька ль долдонил ему:  
в земле копаться теперь ни к чему.  
Поту много, а чести на грош... —  
и вдруг от порога, как выстрел! —  
Врешь! —  
Протиснулся грудью к столу, к посуде,  
добавил, крепясь: —  
Вывела в люди Советская власть! —  
Поднялся, сконфужен, Фомич хмельной:  
— Поздравь жену с мужем, мужа с женой.  
Это ли не пара! — И подал стакан.

Ах, Лара, Лара! (Жар по щекам.)  
Как ты такое, Лара... могла?  
Ищешь покоя? Бежишь из села?  
Какой тебе муж он, когда, не секрет,  
оп только и нужен тебе, как билет  
на право проезда... Не в общий вагон!  
Но встала невеста, и чокнулся он  
(лицо побелело), и выпил до дна,  
как будто бы дело его сторона!

Случилось так. Уже страду  
нные начали колхозы,  
но, опрокинув все прогнозы,  
отзимок грянул на беду.  
То дождь, то снега пелена...  
И, негодуя от бессилья,  
сложила яростные крылья,  
как птица ранняя, весна.

Валерий ждал, как ждут войска  
в бою условленной ракеты.  
Но не хотели ждать газеты,  
пока растают облака.  
Она умела — будь здоров! —  
не выбирая круглых слов,  
громить «сырые настроенья»  
у безответственных голов.  
«Пора! Нельзя тянуть ни дня!»  
А по дорогам — дело плохо —  
уполномоченные пёхом  
брели, судьбу свою кляня.  
Брели и знали наперед,  
что не поможет делу ругань,  
нет, коли сеятеля к плугу  
сама земля не позовет.  
Что лед не сдвинется, пока  
любой, по праву едока,  
судить-рядить и думать будет  
и все решать за мужика.

Да, так! Но, противостоя  
в те дни советам немудрящим,  
Валерий спрашивал все чаще  
себя: «А все ли сделал я?»  
Да, сделал все, что мог. И вот,  
верна старинному обету,  
весна зеленеющую ракету  
взмётнула в ясный небосвод.  
И вскрикнул тополь: «Вот он, я!»  
И в мочки листьев серьги вдела  
березка...  
И помолодела,  
И подобрела вдруг земля.  
Теперь пора! И началось...  
Благословенно это время,  
и дело пахаря,  
и семя,  
что, павши в землю, принялось!  
В рубахе, выцветшей от пота,  
как после ратного труда,  
с утра бугрила лоб забота  
и утирала пот страда.

Ее с усталости шатало:  
так не работалось давно.  
И семь гектаров вспашет — мало,  
и восемь — мало все равно.  
И торопить ее не надо,  
она спешит в поля чуть свет.  
Земля и техника — в бригадах,  
в одних руках. Вот в чем секрет!  
Уже близка была победа —  
Валерий это понимал.  
Но вновь бросался непоседа  
в дорогу. На поле обедал  
и где придется ночевал.

Он обзавелся бороною:  
солидней выглядеть хотел...  
И боль, пришедшая с бедою,  
утихла в сердце между тем.

Как долго не был дома он!  
А почему бы, право,  
не съездить? Сев ведь завершён,  
а сенокосить — рано.  
Правленцы высчитали дни —  
и возражать не стали.  
К тому же кое-что они  
отлично понимали...  
День. Ночь. И вот она — Москва!  
Мать городов! Столица!  
Ну как, хотя б на десть, на два,  
в ней не остановиться!  
Москва, полна своих забот,  
работала, шумела.  
И над землей она и под  
колесами гремела.  
Сметала старых улиц хлам...  
И был он горд от счастья,  
что к молодым ее делам,  
к борьбе ее причастен.  
А под вечер, в толпе людей,

он — ворот нараспашку —  
пришел на площадь площадей  
и встал в сиянии огней  
напротив Спасской башни.  
Куранты пробили, звуча  
под своды вековые.  
У Мавзолея Ильича  
сменились часовые.  
И стук солдатских каблуков,  
что стих за поворотом,  
ему крестьянских ходоков  
напомнил отчего-то.

Тех, в лапотках, кого земля  
тогда, зимой и летом,  
к воротам Красного Кремля  
водила за советом.  
За тыщу верст, как мир велел,  
(ведь дело необычно!),  
шли мужики, не кончив дел,  
в Москву, чтоб самолично  
у Ленина насчет коммун,  
налогов да комбедов  
порасспросить, узнать...  
Кому  
еще об этом ведать?  
И доходили. Пили чай.  
И поболгу сидели.  
А все ж о многом Ильича  
спросить и не успели,  
как не успел ответить он  
на все, что сердцем ведал...  
Под шелест траурных знамен  
оборвалась беседа.

В тот год и все острее потом  
(а жизнь текла не гладко)  
жалели молча мы о том  
и мучились в догадках.  
И бедам, что пришлось нести,  
мы оправдание найти

пытались... Но ни разу  
не усомнились в том пути,  
что Лениным указан.  
И хоть другое без конца  
мы имя повторяли,  
но в трудный час свои сердца  
по Ленину сверяли.

...Стоял Валерий.  
Горячо  
звезда Кремля пылала  
над ним. А сердце с Ильичем  
беседу продолжало.  
И силой полнилось оно,  
и жгучим непокоем.  
И утверждалось в нем одно,  
и рушилось другое.  
И все вставало на места...  
(Да, человеку надо  
бывать для пользы дела там  
не только в дни парадов.)

1961

# 1962

\* \* \*

А мне порой дружки-приятели  
толкуют с видом прорицателей:  
мол, пропадешь ты ни за грош,  
поскольку в Вологде живешь!  
И добавляют саркастически:  
мол, в наше время —  
век иной! —  
талант не так уж поэтический  
необходим, как пробивной,  
чтоб широко начать печататься.  
А ты в провинции, чужак!

Так обо мне порой печалятся  
дружки мои. Примерно так.  
А я: «Мерси вам за внимание!»  
И отхожу... Но что скрывать:  
живут, как вирусы, в сознании  
моих наставников слова.  
И нет да нет

от одиночества  
вдруг засосет вот тут, в груди,  
и до того в Москву захочется,  
что хоть пешком туда иди!

И начинаю я укладывать  
свой чемодан: «Найдется дел...  
И побывать в журналах надобно,  
и потолкаться в ЦДЛ...»

Но... мудренее утро вечера.  
Встаю и вижу поутру,  
что все же мне покуда нечего  
в столице делать,  
и беру  
недорогой билет до Кадуя.

И вот уж, с места взяв разгон,  
стучит-бежит, мне сердце радуя,  
междурайонный мой вагон.

Мои попутчицы — молочницы,  
им, как и мне, недалеко.  
Галдят, кругля круглее обруча  
«о» в модном слове «молоко».  
А через час с порожней тарою  
с подпожки прыгают в траву...

Гляжу на их одежду старую  
и вспоминаю вновь Москву.  
«О, я к тебе, золотоглавая,  
еще приеду! Но пока  
мне путь сюда, поскольку главная  
еще не найдена строка».

И я иду тропинкой по лесу  
да по зеленому лужку,  
иду, ведомый жаждой к поиску  
и добрым чувством к мужику.  
И не жалею, что не съездил я  
в Москву... Иду, упрям, вперед.  
«А может, здесь река Поэзия  
начало все-таки берет?!»  
Да вот она — незамутненная!  
Склопаясь я и жадно пью  
ее гремучую, студеную,  
ее дремучую струю.  
Не кипяченую, из чайника,  
в котором в накипи эмаль...

И право ж, вас, мои печальники,  
по-человечески мне жаль!

1962

## ВЫСТУПАЕМ

За окном устало стали краны,  
стрелы положив на облака...  
Выступаем. В клубе, на окраине  
нашего родного городка.  
Волны пастороженного гула  
плещутся о сцену тяжело...  
Но встает решительно со стула  
друг мой, будто прыгает в седло.  
Распрявился — стихли разговоры.  
Вдруг вперед подался он слегка  
и вонзил лирические шпоры  
скакуну горячему в бока.  
Только шум зеленого прибоя,  
только вскрики ласточек в зарю...  
Нелегко мне спорить, друг, с тобою,  
но — да будет так! — я говорю.  
И, конечно, так оно и будет.  
И не ради места под луной  
этот спор («Ведь мы свои же люди!»).  
И пускай в пас зависти не будят  
маршальские жезлы за спиной.  
Пусть они нас к подвигу торопят,  
за который нам воздаст свое  
не Европа, друг мой, не Европа! —  
а Россия. Мы сыны ее!



# 1963

## ЗАХОТЕЛОСЬ МИШКЕ МОЛОКА

*(Из стихов для детей)*

Возле скотного двора,  
серебром сверкая,  
говорлива и быстра,  
речка протекает.

А за речкой темный лес:  
елки да осины  
поднялись до небес —  
в облаках вершины.

Тишина в лесу и мгла,  
мох да паутина...  
Там медведица жила,  
медвежат растила.

\* \* \*

Скатилось за лес солнышко:  
спать солнышку пора.  
Коровушки-бурепушки  
мычат возле двора.

Они вернулись с пастбища —  
круты у них бока.  
Но рано, рано спать еще  
буренушкам пока.

Веселые и бодрые —  
погодка хороша! —  
доярочки — все с ведрами  
к буренушкам спешат.

Чуть звякают посудинки.  
Буренкам задан корм.

И сладко пахнут сумерки  
коровьим молоком.

Но вот буренки — долго ли?! —  
все до одной подбены,  
Темно...  
Теперь должна  
машина за бидонами  
прийти. Но где она?

Не видно, чтобы фарами  
светила на ходу:  
наверное, авария  
случилась на беду.

Дорога лесом топкая,  
проехать нелегко.  
А ночь такая теплая!  
Прокиснет молоко!

Вдруг кто-то:  
— Погодите-ка!  
А может быть, пока  
не надо холодильника —  
ведь рядышком река!  
И чистая, и быстрая,  
и ночью — холодней...

И вот присели,  
выстроясь  
в рядок, бидоны в ней.  
Присели, как компания  
парней и мужиков —  
любителей купания  
меж темных бережков.

\* \* \*

А медведица седая  
в это время в аккурат  
под сосною восседала  
в окруженье медвежат.

Когти б землю точила,  
было старой не до сна:  
уму-разуму учила  
глупых детушек она.

— Не ходите, медвежата,  
там, где ходят мужики.  
Руки их коротковаты,  
да удары далеки.

Добавляла, глядя сына:  
— Кроме рук  
у мужика  
завсегда с собой «дубина»  
пострашнее кулака.

Как прижмет ее к плечу да  
как прищурит левый глаз —  
улепетывай, покуда  
не попало! В добрый час!

А помедлишь чуть, как дома, —  
горяча, быстра и зла,  
из «дубины» этой с громом  
тотчас вылетит  
пчела.

Как ударит в лоб ли, в зубы —  
упадешь... Она крепка!  
И твоя медвежья шуба,  
станет шубой мужика.

А без шубы жизнь худая.  
Как без шубы жить в лесу?! —  
И поморщилась седая,  
и размазала слезу...

\* \* \*

Сидят — ни звука — медвежата.  
Сидят во тьме — брат возле брата,  
дрожат: боятся мужика.  
Оп где-то тут наверняка!

А старший брат, по кличке Пёстун,—  
тот ухом даже не ведет.  
Сидит себе на мягком месте,  
да чешет лапою живот,  
да рот дерет — неинтересно...  
Ведь он не маленький давно,  
и все-превсе ему известно,  
и даже чуточку смешно.

Сидит, мечтает, непоседа:  
«Пчела... Подумаешь — пчела!  
Да, зла. Но он таки отведал  
недавно меду из дупла!

Распухли, правда, нос и губы  
и плохо видел левый глаз,  
но мед-то в брюхе!  
Эх, ему бы  
удрать куда-нибудь сейчас!

Поесть малины бы, покуда  
храпят в деревне мужики.  
За час — далеко ли отсюда? —  
дошлепать можно до реки.

Уж там малины, там малины!..  
Открой пошире только рот —  
и никакой тебе корзины  
совсем не требуется, вот».

\* \* \*

...Меж тем медведица заснула,  
обнявши лапой медвежат.  
А Пестун с кочки, как со стула,  
встал и пошел: «Пускай лежат!  
Пускай... Медведя ноги кормят!»

Через ручей пробрался вброд,  
потом осинку вырвал с корнем,  
согрелся малость — и вперед!

Вперед! И вот она — малинка...  
Глот вмиг наполнился слюной.  
На каждой ягодке росинка  
горит, сверкает под луной.

Губами ягод пять для пробы  
сорвал, прищелкнул языком:  
«Мяжки, душисты!.. Ах, еще бы  
их чуть присыпать сахарком!  
Но ничего... И так неплохо!»  
Наелся досыта хитрец  
и отвалился с тяжким вздохом:  
бок закололо, наконец.

«А все же славное местечко!  
Теперь поплюю — и был таков!..»

И тут, тихонько выйдя к речке,  
он в ней увидел мужиков.  
Они, раздетые, сидели  
среди камней, в воде до плеч.

«Ага,— решил он,— захотели  
меня, наверно, подстеречь!  
Ну, нет... Не выйдет это! Дудки!  
Я не такой-то уж простака,  
чтоб надо мной такие шутки  
шутить...» — И спрятался в кустах.  
И стал смотреть...

И вдруг, с рассветом,  
Когда сошел туман с реки,  
увидел ясно он, что это  
сидят... совсем не мужики!  
Но кто тогда?

Немедля надо  
узнать — не терпится ему!  
Бегом к реке... И вот уж рядом  
бидоны! Страшно одному.

Понюхал их. Потом полапал.  
И душу вдруг разбередил

какой-то очень вкусный запах...  
Тряхнул бидон что было сил!

Еще сильнее запахло вкусным.  
Слюна скатилась с языка...  
И он, напрягши каждый мускул, —  
Эхма! — облапил «мужика»  
и потащил его под кустик.

Топ, топ... И вдруг па камень задом  
упал, запутавшись в траве.  
— Ой, ой! — И лапою с досады —  
шлеп! — «мужика» по голове!

И диво!  
Щелкнув, отлетела,  
раскрылась крышка широко.  
И па траву струею белой  
плеснулось, пенясь, молоко!  
Нагнулся Пестун.  
Лижет.  
Мало!

Лишь по усам оно текло,  
а в рот почти не попадало...  
Разобрало медведя зло!  
Втянув в себя сладчайший запах,  
«Не отступлюсь!» — подумал он,  
лег на траву, раскинув лапы,  
и сунул голову в бидон!

Темно в бидоне, как в берлоге.  
Зато все рыло в молоке!

А в это время по дороге  
доярки топали к реке.  
Но он не слышит. Пьет, беспечен.  
Надулся пуще пузыря.

«Нет, елки-палки, к этой речке  
я вышел все-таки не зря!  
А братья трусили... Известно!  
Что ж, пусть голодные сидят!» —

Так про себя подумал Пестун  
и дернул голову назад.

Но... Вот так раз!  
Не лезет! Туго...  
Прирос как будто к голове  
бидон... И Пестун с перепугу  
вдруг заорал на всю округу  
и стал кататься по траве...

\* \* \*

Возле речки, там, где брод,  
с пол часа уже народ  
спорит о пропаже:  
— Неужель в колхозе вор  
объявился?! Стыд! Позор,  
если кто расскажет!  
На весь мир ославят нас!  
'А не то — не ровен час —  
настрочат в газету.  
И начнется звон-трезвон:  
«Был, мол, вечером бидон,  
а под утро нету...  
Как же строить коммунизм  
с таким народом?!»

Вдруг — крик!  
Вдруг — визг  
Поднялся над бродом.  
— Вот он вор! За кустом...  
— Где?  
— Да вон! Держи-и-те!!!  
— Не уйдет: лежит пластом...  
— Мужики, вяжите!  
— Чей хоть есть — поглядеть...  
— Пьяный али трезвый?

Вдруг как вскочит медведь  
с головой железной!  
— А-ай! — и все, как горох,  
врасыпную к броду:  
кто — в грязь,

кто — в мох,  
а одна с ходу  
с бережка — в воду!  
И кричит из воды:  
— За ружьем, Гришка!!!

Ох, паделал беды  
маленький воришка.  
В яму лапою ступил —  
и свалился снова...

— Сам себя погубил,  
голова садова... —  
так сказал пастух-старик  
(он один не струсил). —  
Что вы подняли крик,  
гуси?!  
Хватит попусту кричать,  
зверя надо выручать...

Подошел и ловко  
в два ряда, в три ряда  
спутал Мишке без труда  
лапушки веревкой,  
чтоб не смел цапаться он...  
И под общий хохот  
с головы его бидон  
спял: — Возьми, Алёха...

Михаил от молока  
весь не бурый — сивый.  
Поглядел на старика  
и сказал: спасибо.  
И еще сказал, кляня  
чертову посуду:

«Отпустите меня...  
Больше я не буду  
воровать молоко,  
убегать далеко,  
не спросясь у мамы...»



— Ох, хитер ты, малый! —  
погрозил в ответ старик  
медвежонку строго  
(Видно, он лесной язык  
пошмал немного). —  
В лес тебя, баловника,  
отпускать опасно:  
лапа больно велика...  
Попадись — намнешь бока,  
кожу спустишь... Ясно!  
Нет, уж раз ты попал  
сам в ловушку, дурень,  
поезжай в зоопарк,  
поучись культуре!

1963

\* \* \*

Оглядываюсь с гордостью назад:  
прекрасно родовое древо наше!  
Кто прадед мой? — Солдат и землепашец.  
Кто дед мой? — Землепашец и солдат.  
Солдат и землепашец мой отец.  
И сам я был солдатом, наконец.

Прямая жизнь у родичей моих.  
Мужчины — те в руках своих держали  
то плуг, то меч... А бабы — жены их —  
солдат земле да пахарей рожали.

Ни генералов нету, ни вельмож  
в моем роду. Какие там вельможи...  
Мой прадед, так сказать, не вышел рожей,  
а дед точь-в-точь был на него похож.

И все ж я горд, — свидетельствую сам! —  
что довожусь тому сословью сыном,  
которое в истории России  
не значится совсем по именам.

Не значится... Но коль неумоготу  
терпеть ему обиды становилось,  
о, как дрожать вельможам доводилось,  
шаги его расслышав за версту!

Ничем себя возвысить не хочу.  
Я только ветвь на дереве могучем.  
Шумит оно, когда клубятся тучи, —  
и я шумлю... Молчит — и я молчу.

1963

\* \* \*

Читаю книжицу изящную —  
аж скулы ломит: не могу!  
Как будто на воду стоячую  
гляжу, присев на берегу.

Молчит вода, забита тиною.  
Лишь иногда пузырь всплывет,  
да за букашкой, противная,  
лягушка с кочки сигает —  
и снова тишь...

Измучен дремою,  
встаю, не дочитав листка.  
И слово русское, ядреное  
само слетает с языка.

Ого, словцо!  
Острее лезвия,  
оно сверкнуло над прудом,  
как лаконичная рецепция,  
и очень точная притом.

И вновь поверилось, поверилось,  
что есть и реки и моря.  
И вновь уверенность, уверепность  
рванула на борт якоря!

И значит — в путь!  
И значит — в плаванье!  
Наперекор ветрам — туда,  
где в борт высокий — это главное! —  
живая плещется вода!

1963

\* \* \*

Жара. Перехожу речушку вброд,  
притихшую, заглохшую, безрыбную.  
Иду по дну, по камушкам не прыгаю...  
А было, помню, все наоборот.

Характером напористо-крута,  
отведав талой влаги в водополищу,  
мутна до дна, река через околицу  
рвалась куда-то с пеною у рта.

И куры-дуры хлещали крылом  
в подола, оглашая берег криками.  
И речка, возомнив себя великою,  
неслась, как говорится, напролом!

А где-то, даже в паводок света,  
в глубинах отразив и небо с тучами,  
и лес, и зори вешние, меж кручами  
действительно великая текла.

Она качала грузные суда,  
плоты тащила и крутила лопасти,  
она из берегов, не зная робости,  
могуче выходила иногда.

И в ней, борясь с течением, на дне,  
где вечно камни грудятся зеленые,  
ворочались, как мысли затаенные,  
большие рыбы — в самой глубине.

Опа не торопила их на мель,  
чтобы услышать крики удивления.  
Исполнена упрямства и терпения,  
она текла за тридевять земель.

На совесть дело делая свое,  
река текла, широкая и вольная,  
без славословий. Тем уже довольная,  
что люди воду пили из нее!

*1963*

## РУССКИЕ СКАЗКИ

О сказки! О бессмертные творенья,  
далеких предков наших сочиненья,  
на полках не лежавшие вовек!

Кто вас творил?  
Доподлинно известно:  
русоволосый, живший повсеместно,  
с умом расхожим русский человек.

Творил стоустно, слово подбирал  
правдивое, не мудрствуя лукаво.  
Он, как творец, имел на это право.  
Он все из жизни брал.  
И если врал —  
не из тщеславья, жаждая успеха,  
и не из лести — участи льстеца  
в сем деле он не ведал... Врал для смеха.  
из озорства, для красного словца!

Он был рабом, творец. Его пороли  
и били в зубы с маху кулаком,  
и в шею гнали, коль просил он воли,  
и бранно называли дураком.

А он, дурак, был вовсе не дурак!  
В своем углу, где крепок дух овчинный,

он хохотал над барами, да так,  
что тухли, в стенку воткнуты, лучины  
и лопались застежки на портах!  
И слово — все, чем он владел пока, —  
рождало эхо. Грохотало громом!  
И поднимался во весь рост над злом он  
в обличии Ивана-дурака.  
Он все умел, дурак, и все он мог!  
И неспроста, играя опояской,  
он ухмылялся в ус: мол, сказка сказкой,  
а дело — делом... Дайте только срок!

1963

## БАБУШКИНЫ ПЕСНИ

Помню зимние вечера.  
Снова дует сегодня с севера.  
Входит в валенках со двора  
наша бабушка, Олексеевна.  
Из подойника молоко  
льет в посудинки, дужкой брякая...

До спанья еще далеко.  
Еще бабушка сядет с прялкой,  
небольшой, по такой баской, —  
словно в горенку глянет солнышко.  
И закружится веретепышко,  
важужжит под ее рукой.  
Запотрескивают дрова,  
свет запляшет у ног — в два лучика...

И придут ей на ум слова  
песни старой про Ваньку-ключника.  
Под жужжанье веретена —  
прядись, ниточка, прядись, тонкая, —  
поплывет по избе она  
и неспешная и негромкая.

Вся страдание и печаль,  
вся о том, как княжна коварная  
миловала-любила парня,  
Ваньку-ключника, по ночам.

Завывает метель в трубе  
знобко, жалостно... А в избе  
льется песня — печаль-забавушка.  
И, раздумавшись о себе,  
о злосчастной своей судьбе,  
утирает слезинку бабушка.

Ой, не вьюгою ли шальной  
ее тропочка замечается!  
Песня льется, переплетается  
с тонкой ниточкою льняной.  
И протяжна, и широка,  
и ничем таким не расцвечена,  
выпрядается бесконечная  
вместе с ниткой из кужелька.

1963

## РАЗДУМЬЯ В ПОЛЕТЕ

Расположившись в мягких креслах,  
летим... Смешно сказать: л е т и м!  
Опять приносит стюардесса  
бифштексы нам, и мы едим.  
И запиваем крепким чаем,  
и дым пускаем в небеса.  
И что летим — не замечаем,  
не ощущаем. Чудеса!  
Земля под нами еле-еле  
плывет в разводах облаков...

О господи, как тихо едем!  
Как тут не вспомнить рысаков!  
— Эгей, родимые! — вожжами  
тряхнул ямщик — и поцесли,

тревожно прядая ушами,  
вдоль-поперек самой земли.

Перевернут — не дай бог, круто  
рванутся в сторону!.. А тут  
всего пятнадцать верст в минуту.  
Везут тебя и не везут.  
И ни столба, чтобы заметить,  
как ты несешься, ни куста...

Все относительно на свете:  
размеры, скорость, высота.  
И ты, поэт, свою вершину  
преодолев, не меряй, брат, .  
успех свой собственным аршином,  
не торопись на марш-парад.  
И преждевременной победой  
не упивайся, в рог трубя...

Такие ль  
прадеды и деды  
вершины брали до тебя?!  
Все относительно на свете...  
И все ж приятно свысока,  
прикладываясь к сигарете,  
смотреть вот так на облака —  
не снизу вверх,  
букашкой сущей,  
не так, как смотрят на карниз,  
а самовластно, всемогуще  
и потрясенно —  
сверху вниз!

1963

## ОСЕНЬ В БЕРЕЗОВОЙ РОЩЕ

Сквозь чашу леса поределую,  
один, за ветром по пятам,  
пришел вчера я в рощу белую,  
а там — гуляние... А там

березы водят хороводы:  
октябрь — а им и горя нет!  
И, мать честная, вижу — мода  
и у берез на рыжий цвет,  
и у осин...  
Над всем пространством  
и бронзы отблеск и огня.

Лишь ели с мудрым постоянством,  
темнея, смотрят на меня,  
как будто шепчут: ненадолго...

Но их не слушают, легки,  
березки. Сыплют из подолов  
на плечи елям пятаки.  
Сорят налево и направо:  
мол, все равно идут года.  
То было рано, было рано,  
а будет поздно — что тогда?!

И принимаются раскачивать  
опять свой белый гибкий стап,  
от чувств пьянея нерастраченных,  
пустив по ветру сарафан.

А то, обнявшись, станут парами  
и зябко песню заведут,  
как на деревне девы старые,  
что все еще чего-то ждут...

1963

## ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА

В ночь с субботы на воскресенье,  
с наступленьем весенних дней,  
от бессонницы нет спасения  
истребителям окуней.  
Вот выходят они с шарманками,



на часы поглядев: пора!  
 А шарманки у них с примапками,  
 приготовленными вчера.  
 С мотылями да с кашей манною,  
 что осталась после ребят,  
 да с посудинкою стеклянною,  
 разумеется, для себя...  
 В кузовах — соберутся — тесно им!  
 Все — бывалые рыбаки.  
 Все — себе на уме — профессоры,  
 рыбьих слабостей знатоки!  
 Ах, никем еще не описана  
 их дорожная маета!  
 Сколько раз они до Борисова  
 подпирают плечом борта!..  
 Сыплют крепкие — не до песен им! —  
 выраженья, как на войне.  
 Сто годов уж иной на пенсии,  
 а старается наравне...  
 Накопец, дотолкались. Хмурые —  
 «Рыбка, может, давно клюет!» —  
 с расчехленными ледобурами  
 дружно вывалились на лед.  
 И по озеру, как под парусом,  
 разлетелись — не ждет заря,—  
 навалились на буры яростно,  
 слова даже не говоря.  
 И сверлят, и сверлят отдушины,  
 словно напаятые, сверлят...  
 После блеснами самолучшими  
 в тех отдушинах шевелят.  
 Сразу — сидя. Блесна как ящерка.  
 Пальцы чуткие ждут «тычка».  
 После — лежа, достав из ящика  
 самолучшего червяка.  
 На сорожку напасть им хочется,  
 чтоб потешиться от души.  
 А она не клюет... И корчатся  
 возле лунки одни ерши.  
 — Хватит! — кто-то кричит. — Поудили... —  
 И соседа к себе зовет.  
 И, шарманку открыв, посудину  
 неувывную достает.

И садится, сияя, около  
прорубей, к поплавам спиной:  
— Настоящий-то жор у окуня  
будет в следующий выходной!

1963

\* \* \*

Ловим щук на блесну. Это дело мужское.  
Друг мой Колька на веслах, я в самой корме.  
Как на взводе курок, друг мой Колька спокоен,  
как и следует быть, я себе на уме.  
Шнур намотан на палец. Я жажду победы!  
Тихим ходом идем вдоль травы: где-то тут  
полосатые щуки, как будто торпеды,  
золоченую рыбку мою стерегут.  
Я ковареп. Я к щукам нарочно спиною.  
Про себя ж, как язычник, усердно молю:  
«Сжался, щука, что больше других, надо мною,  
съешь, пожалуйста, добрая, рыбку мою!»  
Вдруг — удар! Да какой! Шнур железнее троса.  
О, готова она постоять за себя!  
Руки делают дело свое... Папирота  
перекушена, падает за борт, шипя.  
Щука по борту слева! С ощеренной пастью.  
Колька ловко ее поддевает сачком  
и бросает к ногам. О, рыбацкое счастье!  
Целый год мы мечтали о счастье таком.  
«Есть!» — кричу я и тискаю Колькину руку.  
И не трудно понять рыбаку рыбака:  
может, это последняя в озере щука,  
что бензином да нефтью не пахнет пока!

1963

## ОКНАМИ НА ЗАРЮ

(Поэма)

*Памяти отца — землепашца и солдата*

### 1

Нет, не форточку, раму бы высадить впору —  
вот какая в квартире теперь духота!  
Собирайся, сынок! И поедем за город,  
навестим наконец-то родные места.  
Собирайся! В рюкзак —

только блесны да ножик...

Масло? К черту его! Колбаса? Не пужна!  
Есть корова у тетки. И если поможем  
ей поставить стожок, не обидит она.

И пожалуйста, мать, не держи человека.  
Пусть поедет! Пора ему знать наконец,  
что заглавной фигурой у хлеба не пекарь,  
не короной увенчанный продавец.  
Ну, а кто — мы о том потолкуем особо...  
А сейчас проводи-ка мужчин за порог.

Два билета!  
И мчит нас бывалый автобус,  
так сказать, с ветерком за речной поворот!  
Низко стелются травы. Штормует дорога.  
Мельтешат на щитках — только глянешь

в окно —

разноцветные цифры... А мало ли, много  
означают те цифры — попять мудрено...  
Да к тому же пылит, пролетая, машина.  
Но гляжу я, гляжу...  
Мне все кажется: вот  
перелесок проскочим, а там —  
«До Берлина  
сорок пять километров осталось. Вперед!».  
Сорок пять до Победы!.. А сколько же,  
позади их осталось! Считаю — не сочтешь.

трудных,

Сколько раз поднималась и падала грудью  
на горячую землю высокая рожь!

Нет, дорога в деревню —  
не к тылу дорога.  
Нет, деревня сегодня — не тишь да покой.  
Как от дота до дота, от стога до стога  
здесь бескровный, но яростный катится бой!  
Из атаки в атаку — не падают, держатся  
косари. Раскален добела небосклон.

Бой победно гремит! Возвращаются беженцы  
и срывают прогнившие доски с окон.

И стучат молотки здесь у каждого дома,  
и моторы дымят, и в ходу топоры...  
Вот что значит деревня!  
А вы мне: солома,  
да коровы еще, да еще комары...

Здесь в безмолвных озерах свирепствуют щуки,  
обжирается спелой малиной медведь.

Взять корзину бы в руки! Но заняты руки:  
осыпается рожь. И пшеница как медь.  
И «скрипит», припотев, допотопная бабка  
на льняной полосе. Как-никак, человек...  
Вот что значит деревня!  
А вы мне: рыбалка,  
да с малиною чай, да на сене ночлег...

Здесь по три да четыре избы на посадке,  
здесь по десять девчонок на парня  
в бригаде.  
Здесь проблема разлуки да скуки сейчас  
есть одна из великих проблем для девчат.  
И не диво. До клуба порой от избытки  
не дострелишь из пушки: и лес и ручей...  
Вот что значит деревня!  
А вы мне: частушки,  
да любовные вздохи, да скрип дергачей...

Нету старой деревни! Кого нам обманывать?  
Моргунка тоже пет. Уработался. Спит.  
Нет! И строит деревня сегодня

все заново:  
избы, клубы, дворы, психологию, быт.

Эта стройка невидная —  
жметя к лесам она, —  
но великая тоже! А может, в ряду  
тех, великих, она

есть великая самая!  
Понимаете, что я имею в виду?

И нужны ей сегодня не только прорабы,  
да проекты, да планы — ей руки нужны,  
чтоб заделать хотя бы... вот эти ухабы —  
вот такой ширины, вот такой глубины.

Руки, да! Молодые притом и влюбленные  
в эту стройку.  
Взгляни — ты в деревне не гость:  
вот она, вся, как есть, золотая, зеленая,  
вся пропахшая стружкой смолистой насквозь!

Это стройка, скажу я вам! Это картина!  
А простор-то какой! Даже робость берет.  
Мачты полем шагают. Бушует плотина.  
Белым прочерком в небе над ней самолет.  
Высоко-высоко! Старичок на подводе  
бороденку задрал, приподнял козырек...  
— Эй, шофер, тормози! Мы приехали вроде.  
Вот черемуха наша... и дом паш, сынок.

## 2

В этом доме я знал все на память, на ощупь:  
кухня, сени, четыре ступеньки крыльца...  
Скинь-ка шапку, малыш мой!  
Ты видишь воочью,  
так сказать, родовое поместье отца.

Ни кола ни двора. Лопухи да крапива.  
Сядь на этот вот холмик — тут печка была.

А вот тут, от крыльца, начиналась тропинка,  
та, что первый мой шаг на себя приняла.  
Сядь. Мне многое надо припомнить...

Не весь он,

пепел, что под ногами, остыл.  
Хоть не раз  
здесь метели гудели и дождь куролесил, —  
не остыл, не развеялся он, не погас.  
До скончавша века он — пепел тот — с нами...

Что же вспомнить сейчас, что тебе рассказать?  
...Утро в нашей избе начиналось блинами.  
С пылу — прямо на стол! Успевай подбирать!  
Мама рада была, коль мы ели в охоту:  
— Каковы на еду, таковы на работу!

Попытала, что нам не руками махать  
уготована доля, а землю пахать.

И уже приучала.  
Впервые бороздку  
проложил я, паверное, лет десяти.  
В тот же год я имел уже косу по росту,  
не сбиваясь, умел в пять цепов молотить.

Топотали цепи на снопах, как по нотам.  
Улыбался отец, наставляя сынка:  
— Коли взялся работать, работай до пота,  
а без пота работать — валять дурака! —  
Мол, земля лежебоку зазря не одарит,  
мол, ее не обманешь ты, как ни умен.  
— И пеняй на себя, коли пусто в амбаре! —  
ударяя цепом, приговаривал он.

Ну, и верно: работал он с пылом и жаром,  
то косою махая, то плуг волоча.  
И не даром, икон поубавив, не даром  
прилепил он к простенку портрет Ильича.  
Посветлело в душе.  
Были праздником будни.  
А в селе про колхозы ходили слухи.  
Да не верил: мол, это когда еще будет,  
а сейчас надо сеять да жать, мужики.

Он из тех был, отец мой, кто знал себе цену,  
кто в удаче на свой лишь хребет уповал.  
Летом дом подрубил —

вставил в каждую стену  
по четыре бревна,  
перекрыв сеновал,  
хлев приделал к двору, а потом у дороги  
начал строить овин...

А ему нет да нет:  
— Понапрасну, старатель, мол, силушку  
гроишь,  
все колхозное будет! — пророчил сосед.  
— Что ж, — отвечивал, — начал — так надо  
поставить.

А колхоз... Поглядим! Коли дело пойдет,  
я, как старый журавль, не отстану от стаи...  
— Ну, готовься тогда. Недалек перелет!

И сбывалось пророчество, было похоже.  
Наезжал из райцентра Кирюха-матрос,  
приходила газета, и та все про то же  
толковала деревне моей — про колхоз.  
Повторяла одно через каждую строчку:  
не уйти мужикам от нужды в одиночку.  
Сами знали, что так. Понимали, что надо,  
а решиться... Поди-ка решишь. Маета!  
Там, где сам передом, — баба глупая задом...

Все ж осмелились!  
Первой пошла беднота.  
Добровольно! На страх мироеду Хмырову!  
Вот она, революция! Хлеб закопал  
толстосум, подпалил самолично хоромы,  
постонал: подожгли, мол, его... И пропал.  
А в деревне — нужна стопроцентная сводка —  
за полночью сходкою новая сходка.  
Поначалу без баб — так велось искони, —  
а потом, чуть прослышат, бегут и они.  
Соберутся — потеха! Что крику! Что реву!  
А о чем — не опишешь сегодня пером.

Жалко было коня, жалко было корову,  
и саней было жаль — хоть руби топором!

Как же вынести было, к примеру, такое:  
запряжет кто-нибудь не спросясь — и айда!  
Ведь мужик — скопидом. Он по-своему скроен.  
Но о том ли печалиться было тогда?

Кто-то вслух:  
— Не распаривши, дуги-то гнете.  
И вообще мы не против... а все ж подождем.—  
Но Кирюха-матрос — он учился на флоте  
«уговаривать» коптру — стоял на своем.

Сто процентов — и ша! И смолкали, как рыбы, мужички на скамьях.  
«Агитацию» ту  
После стали уже называть «перегибом».  
А тогда, брат, она подводила черту  
всем дебатам.

И бычилися пахари лбами  
в темных избах и жгли до рассвета табак.  
Непростая задача: минуя предбабник,  
прямо в баню попасть. Было все-таки так.

## 3

Председателем первым избрали Степапа. Безлошадника. Страсть был какой боевой! Вел дела неказисто. Зато неустанно раздувал на планете «пожар мировой». Говорун был, частоха! Начнет о навозе, а закончит пожаром... Аж горло сорвет. Грамотеев-то было не густо в колхозе, и народ, — что подлаешишь — слушал народ. Как-никак, голова! Первый в доме хозяин. Мужики ко всему относились всерьез.

А работали как! На миру-то нельзя ведь  
осрамиться...  
Бывало, придет сенокос —  
стар и мал на лугах. Позабыты постели.  
Бабы, как на гульбе,— сарафаны пестры.



И звенели малиновым звоном, звенели  
наостренные косы, дымились костры.  
Упревала артельная каша на ужин.  
И ребята — просторно у них в шалаше —  
на сенце молодом целовали подружек.  
Жизнь такая ребятам была по душе.

Да и старшим, пожалуй...

Все было в новинку.

Отличился — почет, худо сделал — позор.  
В стенгазете, бывало, такую картинку  
поместят, словно выстрелят в совесть, в упор!  
Новь свои утверждала в деревне законы.  
Нету рая на небе — и в щепки иконы!  
Неученне — тьма, а учение — свет,  
и за партой рядком с мочодайками — дед!  
И открыты детясли — работайте, жинки!  
И всем праздникам праздник отныне —  
дожинки.

Пир как есть па весь мир!

Чуть не сорок столов.

Припасали еду семь да семь поваров.  
Под навесом берез, на лужочке зеленом,  
угощали с двух рук, подносили с поклоном,  
что смогли наварить, что успели напечь...

«Голова» выдавал громобойную речь:  
мол, сдадим! Не подгадим районную сводку!  
Мол, заткнем «мировой буржуазии» глотку  
полновесным, ударным колхозным мешком!  
— Только так! — И о стол ударял кулаком.

И чего-то еще о кулацком охвостье  
говорил. И косил на районного гостя  
взгляд...

И видел, что речью доволен был гость.

И гремели ладони, и пиво лилось.  
И кому-то гармонь сумасшедше и яро  
разминала суставы. И стыла еда...  
Пели. Жгли самосад. Не жалели о старом.  
Дескать, дружно — не грузно, а порознь —  
беда!

О, погожее лето далекого года!  
Принялся и расцвел в это лето цветок  
новой жизни. И каждый его лепесток  
был тогда выражением веры народа.

Веры в то, что отныне извечному страху  
пред нуждой  
не селиться уже росмахой  
по углам да щелям скособоченных хат,  
что беде уже нету дороги назад!

И какие же были нужны цветоводы,  
чтоб ни яд сорняков, ни капризы погоды  
ни пригнуть, ни сломать тот цветок не смогли,  
чтобы рос, набирался он сил от земли.

4

Что же после? Еще пролетело два года.  
Крепко врезался в память мне этот денек.  
Мать выносит горшки.  
У крылечка подвода.  
Младший брат мой ликует: ему невдомек,  
что не к бабушке в гости сегодня мы едем...  
Грустно смотрят на нашу работу соседи.  
И ребята. Особенно Надька, Надеха...  
Мы всю зиму сидели за партой одной.  
— До свиданья! — сказал я.  
А Надя со вздохом  
за косичку ваялась, повернулась спиной  
и, помедлив немного, схватила за руку  
одноклассника Кузю — и вон со двора!

Эх, и мне бы...  
Но все приближало разлуку:  
и растерянность мамы, и стук топора...  
Вот уж поднят сундук. Вот закрыты замки.  
Вот уж гвозди вгоняет отец в косяки...

Слепнет дом. Нет, отец на него не в обиде.  
Просто хочет, чтоб он совершенно не видел,  
как мы тронемся с места, чтоб дом наш не мог

вслед нам, как человек,  
бросить горький упрек.

Было солпечно, вешне. А мы уезжали.  
Хмуриьсь, дергал отец поминутно вожжами.  
У него от земли под погтями черно.  
У него на душе, как в подвале, темно.

Споро мерин идет. Мы с брательником с воза,  
озираясь, глядим на владенья колхоза.  
Тут вот батька пахал. Замахнется кнутом:  
— Ну ты, черт! — И земля из-под плуга  
винтом.

Там вон дергала леп наша мама. Бывало,  
не присядет поесть: ей все мало, все мало!  
И писал бригадир, почесав в голове,  
ей под вечер не палочку в книжку, а две...  
Ликовала она!  
А вон там, за рекою,  
батька подсеки жег. И случилось такое:  
вспыхнул жарко валежник. И вдруг из огня  
поднялась, испугав не на шутку меня, —  
кто б ты думал? — тетерка.  
Ширяя крылами  
дым горячий, она пролетела над нами.

Батька глянул, жалея, ей вслед тяжело  
и промолвил: — С гнезда сорвалась. Припекло.

И застыл, пораженный. И долго глядел он  
на огонь, навалившись на кол обгорелый...

— А вон там... — вдруг припомнил еще что-то брат,  
приглашая меня оглянуться назад. —  
Там... — И смолк, удивлен:  
на вершине увала,  
от телеги отстав, наша мама стояла.  
К чужедальней дороге стояла спиной,  
гореванно прощалась с родной стороной.  
Оторвало от берега льдину-судьбину,

понесло, потащило, крутя, на чужбину,  
мимо детства, девичества, бабьей поры;  
мимо пив, что не очень бывали добры,  
мимо круч горевых, островочков надежд,  
и гуляний и песен, что пелись допрежь.

Что случилось — едва ли она понимала.  
Не бывало такого в роду, не бывало!  
Как же так: при земле

уезжать от земли?  
«Передумай!» — давали совет журавли.  
«Ведь не поздно еще!» — стрекотали сороки.  
«Возвращайся скорей!» — убеждали грачи.

И сжималось сердечко от этой мороки:  
что же, господи, делать-то ей, паучи!

## 5

А страпа избяная  
и гордо и просто  
в те года расставалась решительно с прошлым.

Медногорлые громы снимала с церковей,  
на каблук подковаться желая скорей.

Дорывала последние лапти без горя  
и сама, без подачек чужих из-за моря,  
там и тут, подтянувши потуже ремень,  
возводила цеха на виду деревень.

И была ей любей не рубаха под пояс,  
а рабочая блуза, железная стать.  
Комсомольск-на-Амуре и Северный полюс —  
все ей надо постичь, все ей надо достать.

Выше! Дальше! И не было позой геройство.  
О, она понимала, круша и творя,  
сколько взглядов — и добрых, и злобных,  
и просто  
любопытных

за нею следят с Октября!

И понятною гордостью первой на свете,  
молодая, она увлеченно жила.  
За себя да еще за идею в ответе,  
на такие она замахнулась дела!..

И дошли до села громовые раскаты  
этих дел и взорвали извечную сонь.  
Что там плуг, боропа! Что овины да хаты,  
коли есть Днепрогэс!  
И уже под гармонь  
пареньки из залесных халуп да заречных —  
не бывало такого еще на веку! —  
на рабочих окраинах «Песню о встречном»  
запевали, спеша на завод по гудку.

А за ними, наметясь всерьез в инженеры,  
присобачив замки к сундучкам из фанеры,  
уезжали учиться совсем сорванцы...

И не смели перечить ребятам отцы.  
Где там! С радостью даже ребят провожали.  
И пахали, и сеяли после, и жали  
за себя, за сынов...  
И приятную весть  
получив из доселе не слыханных мест,  
улыбались в усы: хорошо, мол, сыны!

А сыны не жалели себя для страны!  
А сыны с деревенскою дюжей ухваткой  
грохотали киркою, играли лопаткой,  
трамбовали бетон в основаниях домов...

И, пожалуй, немножко грустили о доме,  
где все глуше, хлебнувши расстанной беды,  
вечерами звенели гармошек лады.  
И безрадостней стали зимой посиделки.  
Примирились с изменами старые девки.  
Кавалеры теперь приезжали в село  
только летом, чтоб выйти — и грудь наголо,  
чтобы, пыль подметая штапиной широкой,  
поразить деревенщину модным фокстротом,  
опустевшую избу продать на дрова  
и уехать, сказав «До свиданья» на «а».

Я позднее и сам приезжал. Я и сам  
 белозерского «ленчика» в церкви плясал.  
 И под куполом самым, забыв про грехи,  
 декламировал с жаром чужие стихи!

И особенно хлестко  
 про паспорт серпастый.

Ритм железный скреплял я движеньем руки,  
 доставал из штанины свой паспорт и хвастал,  
 хвастал так, что глотали слюпу мужики.

Приходили теперь и опи вечерами  
 в клуб кино посмотреть, от работы устав.  
 Богохульно звенела гармоника в храме  
 до полночи, под галочий гвалт на крестах.  
 Их не сразу свернули: все дня не хватало.

Я любил посмотреть с колокольни окрест.  
 Поредели посадки, овинов не стало  
 и заметно к посадкам придвинулся лес.  
 И, поскольку они поредели, посадки,  
 все трудней управляются с полем бригады...  
 Мужики же, глядишь, задирают носы,  
 потому как у Федора — летчиком сын,  
 у Ивана — врачом, у Петра — капитаном...

Как приедут домой, как тряхнут капиталом —  
 полдеревни в хмелю!  
 Крепок хмель даровой:  
 ни рукой шевельнуть, ни тряхнуть головой.  
 Восседает под образом, ширясь плечами,  
 дорогой гостенек:

«Как патрет! Как начальник!»  
 Не чужой и не свой уже в отчем дому...  
 И стыдятся девчата-доярки ему  
 протянуть пятерню: не бела, не мягка  
 и не в меру, к тому же еще, велика.

Да и сверстники, смотришь, пред гостем  
 робеют,

Похвалиться собой — и подумать не смеют!  
И не знают, почтения к гостю полны,  
настоящей себе — настоящей! — цены.

Да и то: революции нашей от роду  
только двадцать исполнилось к этому году.  
И не все, на беду, понимали вполне,  
что достоин с Героем любым паравне  
встать и тот, кто к земле пуповиной прирос,  
кто великою верою верил в колхоз!

Верил так же,  
как верят влюбленные в счастье,  
потому что он был выражением власти,  
за которую —  
это запомнят века —  
щедро пролита также и кровь мужика!  
Верил оп,  
хоть ему причитались в излишке  
за работу порой только палочки в книжке,  
и хватало ему этой веры, хватало,  
поплевав на ладони, начать все сначала.  
Да, хватало! Тому подтверждением веским  
грозовая военная паша страда!  
Сколько вынес да вытерпел люд деревенский,  
сколько сил положил для победы тогда!

Он в душе не копался, суровый оратай.  
Оп одно понимал:  
надо гнать супостата!  
И не пыл, не стопал, не искал виноватых,  
а работал!  
За мужа.  
За сына.  
За брата.

Отдавал он войне все, что поле рожало, —  
до зерна, до куска...  
И солдаты, бывало,  
замечали: не солнцем, не летней грозой  
пах тот хлебушек трудный, а горькой слезой.

Кто растил-то его? Ребятишки, да деды,  
да солдатские мамы, да женки солдат...  
О, как долгод был, пахарь, твой путь до победы!  
Даже страшно сейчас оглянуться назад.

И когда отгремели за Одером пушки  
и остыл, разряженный последним, свинец,  
человек, говоривший с акцентом по-русски,  
похвалил за терпенье тебя наконец.

7

Дверь открыла и — ах!  
И рукой по подолу:  
— Да ужель это вы? — И сама не своя,  
привечая гостей, закружилась по дому  
Маремьяна Васильевна — тетка моя.  
Береженую скатерть на стол! И за чашки.  
Миг один — и уже водружен самовар.  
Нараспашку окно. Нараспашку рубашки.  
Пляшут зайчики в блюдах. Над блюдами —  
пар.

Я гляжу: как просторно, как прибрано в доме.  
Уж не восемь ли лет все одна да одна  
Маремьяна Васильевна — горюшко вдовье —  
проживает. И в том не виновна она.  
Детки все разлетелись. А муж ее — Яков —  
и вернулся домой, да израненный весь.  
Но не сдался! Остатнюю силушку па кон  
всю поставил:  
стонать, мол, велика ли честь!

На собрание каком-нибудь, припоминаю,  
кривда губы кусала до крови при нем!  
— Пусть я, — скажет, бывало, — огонь  
вызываю  
на себя. Ничего... Я бывал под огнем! —  
И начнет «выкладать».  
Был похож он на дерево,  
расщепленное молнией. (Стоя оно  
умирало... Но твердо в бессмертье верило,  
молодыми побегами окружено!)



Было Якову трудно, но бился, не охал!  
Потому, даже в те непогожие дни,  
проросла его вера Кузьмой и Надехой —  
как и сам он, партийцами стали они!  
Переняли от Якова, став коммунистами,  
неунывность его, и его прямоту,  
и его молодую в работе неистовость,  
и безмерную к людям его доброту.

Умер вскорости он. Ненадолго хватило.  
Умер Яков —  
едва ль не последний мужик  
из немногих, верпулись которые было...  
Умер, руку одну на живот положив.

Я вздыхаю. И, памятью горькой растроган,  
достаю «Беломор», придвигаюсь к окну...  
Тетка мне: — Да кури... Мужиком хоть  
немного  
будет пахнуть в избе-то! Кури не одну.

Сам-то воп как дымил...—  
И замолкла. И прямо,  
не мигая, глядела с минуту она.

Отдыхать па сарай отвела нас: жара, мол,  
да и мухи в избе-то... А тут — тишина.  
Прикорнул у плеча и заснул мой мальчонка.  
Гром проухал вдали, словно кто по бочонку  
кулаком постучал... Собиралась гроза.

Ну, а мне не спалось.  
Я все думал о чем-то...  
И отчетливо тетнины видел глаза,  
в пустоту устремленные...  
Явственно слышал  
скорбный голос ее: «Да кури ты, кури».  
Нерешительно дождик прошелся по крыше.  
Вновь петух прокричал... Я не спал до зари.

Под шуршанье дождя я опять,  
через годы,  
слышал стук топора, скрип тяжелой подводды,

отъезжавшей в тот солнечный день  
от крыльца...  
В эту ночь очень мне не хватало отца.

8

...Да, он бросил село в ту весну.  
И за плугом  
не бывал уже больше. А вышло вот так:  
дом сожгли постояльцы, и сам он под Лугой  
был убит в сорок первом в одной из атак.  
А хотел он сюда возвратиться обратно.  
Потому заколоченный дом и берег.

Вы простите, поля, мужика и солдата,  
что для вас  
рук своих уберечь он не смог.

Очень их не хватает сегодня... А впрочем,  
пред тобою, земля, столько ж он виноват,  
сколько ты виновата, родимая, в том, что  
он ушел и уже не вернулся назад.

Он ли, пахарь, тебя разлюбил, обленясь,  
ты ль над ним вековую утратила власть —  
неизвестно. Но ясно —  
какая-то жила  
между ним и тобой в ту весну порвалась.

Слишком много на эту неслабую жилу  
было в те времена удалого нажиму.  
Кто картошку едал — все брались мужика  
просвещать, наставлять и толкать под бока.  
И пахать-то его обучали, и сеять,  
понукая при этом его, ротозея...  
И добро б агрономы, а то «знатоки»  
из конторы «Утиль», например, из музея...  
То и дело в деревню вострят башмаки!  
Пешка пешкой иной ведь в масштабах  
конторы,  
а приехал в колхоз — полководец Суворов!  
Трактор стал — и Суворовы все тут как тут!  
Ну, а толку-то что? Только пашню умнут...

А могли б, животы надорвать не рискуя,  
трактор тот на руках отнести в мастерскую!

Но они тракториста берут в оборот.  
Кто-то сводкой тряхнет, кто-то вынет блокнот.

Кто-то болтик иль гайку какую для вида  
тронет пальцем и вытрет его о платок...  
И туманит глаза тракториста обида:  
— Не марались бы вы... Отступили б чуток.

Да и то:  
хлебобоб — он же издавна знает:  
мать-сырая земля не от сводок рождает —  
от любви неизменной!  
В ответ на любовь  
отдает она людям зеленую кровь!

И да здравствует эта любовь!  
Лишь она  
украшает колосьями землю. Одна!

9

Сепокосит деревня.  
Уставшие за день,  
вновь блаженствуем мы в деревенском раю.  
Теткин дом — он четвертым стоял на посаде,  
а сегодня он первым стоит, на краю.

А сегодня за теткиным домом — околица...  
И не первое лето, с тоски без ума,  
там, где раньше стояли другие дома,  
сипим далям по-вдовьи черемухи молятся.

И глядят на дорогу и верят, неистовы,  
что к весне мужики возвратятся сюда,  
наострят топоры, срубят избы смолистые,  
и запахнет дымком,  
как в былые года...

Ах, черемухи!  
Лучше вам с долею трудною,

примириться:  
иные пришли времена.  
И не будет деревня уже многолюдною,  
потому что моторною стала она.  
Но и все ж  
мне близка и понятна, деревня,  
ваша грусть.  
Я и сам до сих — не солгу —  
к той тележной, бедовой и горькой деревне  
очень нежные чувства в душе берегу.

Не она ли — она меня, малого, скоро  
понимать научила — не вытью одной —  
как оп, хлебушко-батюшка, пахарю дорог  
и как сладок, поскольку он хлеб трудовой.

У нее я учился премудростям чести,  
прямоте: да — так да  
или нет — так уж нет!  
Благодарен я ей, деревушке в залесье,  
и за сказки ее, и за песни...  
Ах песни!  
Я люблю их и помню с мальчишеских лет.

То печальные, как завывание вьюги,  
от которого — знаете? — дрожь по спине.  
То веселые очень, как ливень в округе,  
из-под радуги ливень. И гром в вышине!

Ох, как гнулись под песенки те  
половицы!  
Русский хмель — оп такой:  
коли бросило в круг,  
надо пол проломить,  
или об пол разбиться,  
или высечь огонь каблуком о каблук!

Руки в стороны: — Эх! — Ходуном вся изба,  
словно в этой избе не гульба — молотьба.  
Не умела деревня — характерец чертов! —  
ни вполсил работнуть, ни вполгорла  
хлебнуть...

Я вас помню, гулянки, я знал вас, вечерки,  
знал... И словом худым не хочу помянуть.

Худо, что ли, как кони летели по кругу,  
пропоя, словно радугу, полем дугу?!  
Не могу я,  
по памяти, словно по лугу,  
проходя,  
наступать на цветы, не могу!  
Понимаю, что к старому нету возврата,  
отзвенели твои бубенцы навсегда,  
деревушка...  
Но так ли уж ты виновата,  
чтобы все зачеркнуть, чем жила ты тогда?!

Много дикости было?  
Да, было. Допустим...  
Но и все же, какой бы она ни была,  
та деревня,  
понятие гордое: русский! —  
в полной мере она осознать мне дала!

Да, опа! Хоть об этом ее не просил я.  
Это после пришло... И когда я кричу,  
что деревню люблю, — это значит, Россия,  
я тебе в этом чувстве признаться хочу!

Ты иная сегодня. Ты в космос врубилась...  
Но и громом ракетным встречая свой день,  
я хотел бы, Россия, чтоб ты не забыла,  
что когда-то ты вся началась с деревень.

10

Мы гостюем у тетки уже две недели.  
Молока — хоть залейся. И кашу не делим:  
и наутро горшок, и на вечер горшок —  
мы поставили все-таки тетке стожок!  
Невелик он — а все же к «процентам» подмога.  
Так уж рада она! Мол, надейся на бога,  
ну, а сам... И потуже затянет платок.  
Тетка — баба не промах. Гроза! Кипяток!

241

По земле — пикому пичего не должна —  
по-хозяйски ступает сегодня она.  
И касается всякое дело ее,  
и сужденье о деле у тетки свое.

На усадьбе у тетки, как джунгли, ботва.  
Ну, и клевер, конечно. Не просто трава.

До чего ж он высок!  
Стебли словно веревки!  
И хотя мы на совесть отбили литовки,  
застревают, как будто в отрепье, они.  
Р-раз! — и сдайся назад.  
Два! — и вновь потяни.

— Вот что можешь, земля, ты! — дивлюсь я,  
махая.—

А еще говорят про тебя, что плохая,  
что скупая у нас ты... Да это ж брехня! .

Вижу, тетка с улыбкой глядит на меня.  
— И в колхозе сей год клевера-то  
ди-кушние! —  
говорит мне она.— А ведь чуть не порушили!  
Приезжал по весне тут один... еперал.  
На Кузьму-бригадира уж так напирал!  
А Кузьма — ни в какую! Дойдет до ответа —  
все одно повторяет: «Согласия нету».  
Ну, а если, мол, он для успеха помеха,  
если ведает тот, как прямее проехать,  
пусть садится и правит... Бригаде нужна  
не красивая сводка — мол, грош ей цена!

Я смеюсь: веселит меня теткин рассказ.  
Ах, Кузьма! Ну, Кузьма! Даже слезы из глаз!  
И молчал ведь...  
А сколько, о чем ни попало,  
толковали мы с ним вечерами, бывало.  
Сядет рядом, достанет кисет да газетку,  
чуть не с палец сигарку свернет — и начнет:  
— Ты бы вот что, писатель, себе на заметку  
взял... Да ты не спеши: ты послушай вперед.  
Ну, вот сев, например.

Да, горячее время.  
Ни поспать, ни побриться... Поскольку страда!  
И покудова в землю не брошено семя,  
хоть до пояса пусть отрастет борода —  
пахарь плуга не бросит, земле не изменит...  
Это, знаешь, в крови у него. Испокон!  
Бедь земля ему — высшая власть и спасенье!  
И не зря ее ласково матушкой он  
величает,  
        как сын, ей покореб до гроба!  
И пустая им тяжба совсем ни к чему:  
он ли служит ей вечно, она ли ему?!  
В узел издревле накрепко связаны оба!  
Трудно, да,  
        но и радостно это служенье.  
Без упреков, без клятв, без биения в грудь...  
А теперь — коли сев, то, конечно, «сраженье»,  
коли жатва, то «битва»...  
Послушаешь — жуть!  
Шуму, треску! Гляди, телефон разорвется.  
И приказ, и указ... И еще целкопер  
из газеты...  
И все призывают «бороться».  
С кем бороться — не ведаю я до сих пор.  
Да и некогда, знаешь ли: столько работы!  
Впрочем, может, не дело совсем говорю...

И смутится, конечно:  
— Да брось ты... Да что ты! —  
Если я его вдруг от души похвалю.  
Мол, какой он философ!.. И в шутку добавит:  
— Темнота ведь, деревня!  
                                — Ну да — темнота!  
Темнота, да не та, — не скажи, брат, —  
  с зубами!  
И, конечно, такая она неспроста...

Он и сам это знает. Он все понимает!  
Он о будущем даже не прочь помечтать.  
И мечтает! А чаще считает, считает...  
Все в деревне теперь научились считать.

Мы сидим на валке посреди участка.  
Шмель летает. И маковки медом сочатся.  
Трактор улицей прет, тянет сани большие.  
И горой на санях бревен меченых воз.  
Кто-то дом перевозит.  
Видать, на отшибе  
под завязочку, как говорят, нажилось.  
Слышу:  
— Ставить под вашей черемухой ладит...  
— Что же, место веселое! — я говорю.—  
Дому тут и стоять: в самом центре бригады,  
да и окнами, кроме того, на зарю! —  
И на миг представляю...  
Нет, вижу сквозь время  
этот дом и черемуху эту в цвету,  
вижу клуб (не церквушку уже) —  
всю деревню,  
но не эту, а будет которая, ту!

Подметет она стружку в заулках. И встанет.  
И засветит в распахнутых окнах огни...  
И потянет сюда меня снова, потянет  
за веселыми песнями. Будут они!

Очень многое будет!  
Как в небе, широко  
мы шагнем и в деревне —  
нас время торопит.

И гулять по полям небывалым машинам!  
Так я думаю, с завистью глядя на сына.  
Он заметпо в деревне окреп, загорел.  
Он в деревне серьезнее стал. Повзрослел.

Молча смотрим мы оба,  
как, тяжек и грозен,  
на заброшенной пашне, упершись плечом,  
выдирает с корнями осыпи бульдозер  
и замшелые пни — все ему нипочем!



Он спешит: надо с делом управиться в срок!  
И упрямая сила его — как зарок,  
что земле молодеть!  
Как она широка!  
За черту горизонта плывут облака...

А на клеверном поле, у нас на виду,  
люди, солнышком залиты, ставят скирду.  
И Кузьма среди них.  
Вот он, выпрямься, встал.  
Вот он запросто граблями пебо достал,  
двинул по боку тучку и шумпую ношу,  
подхватив, приподнял  
и у пог положил.  
И опять распрямился...  
Погодой хорошей  
в пору страдную эту Кузьма дорожил.

*1962—1963 гг.*

# 1964

## БАЛЛАДА О ЧИСТИЛЬЩИКЕ САПОГ

Из дома уходит он рано.  
И прежде чем ногу поставить  
на стертый годами порожек,  
кладет на него он ладоши  
и, чуть приподнявшись, проносит  
над ним что зовется ногами,  
верней, что осталось от ног.

Хорошая пынче погода!  
Рабочая пынче погода!  
И падо, покуда машины  
асфальт не полили водою,  
на шумную выехать площадь:  
там пыльной обуви полно.

И вот прибавляет он шагу...  
Простите, не шагу, а маху.  
И делают руки покорно,  
что, помнится, делали ноги:  
не так чтобы скоро, а все же  
они его движут вперед.

А солнце палит. Рукоятки  
в ладонях совсем отсырели.  
Вот парк — здесь немного прохладней,—  
а вот накопец-то и площадь...  
И снова работа рукам же:  
они его салят на ящик,  
другой перед ним выставляют  
и щетки, и бархата лоскут,  
и вакуу кладут на него.

Спасибо вам, руки! Он весел.  
Он полон надежд, как удильщик,  
забросивший удочки в омут

на тихой и ранней заре.  
Он весь ожиданье. А мимо,  
как рыбы, как красные рыбы,  
бесшумно почти проплывают  
то туфли на мягкой резине,  
то черные, словно палимы,  
ботинки, потом сапдалеты  
и редко совсем сапоги.

— Почпстим, приятель! — зовет оп.  
И, щетку подбросивши, ловит,  
вниманье прохожих хоть чем-то  
стремясь обратить на себя.  
И это ему удастся.  
Мужчина с газетой в кармане  
подходит и ставит на ящик  
огромный полуботинок  
со сношенным каблуком.

И все исчезает на свете:  
и люди, и площадь, и небо...  
Есть только вот этот ботинок!  
Две щетки, как будто две щуки,  
бросаются с двух сторон.  
— Готово! — стучит он о ящик  
и взгляд переводит на небо,  
доволен собой... А мужчина  
стоит и читает газету.  
И даже не видит его.

Стоит монументом чугунным...  
Но вот он на миг оживает,  
меняет на ящике ногу...  
И скоро уходит, монету  
к подножью в ладонь уронив.

А стрелка часов у аптеки  
еще обежала полкруга.  
И двери контор и конторок  
все чаще глотают людей.  
— Почистим, приятель! — Но мимо,  
все мимо и мимо ботинки,

похожи уже не на рыбин —  
на вспугнутых выстрелом птиц.

Все больше народу. И площадь  
пескошепным кажется лугом.  
А он ни косынок, ни платьев  
не видит — он видит лишь ноги  
чужие... Но явно при этом  
он чувствует ноги свои.

Усталые, в день свой последний,  
он помнит, они все бежали  
по черному полю, обуты  
в ботинки, раскисшие вдрызг.  
Ах, как же он их пакапуне  
суконкою драил! Комроты  
был строг к подчипешным:  
пехоте  
беречь, мол, положено обувь  
не менее, чем автомат!

И были ботинки что надо!  
Не старые были ботинки.  
И дьявольски ловко умели  
прицелкнуть каблук о каблук!

Жестока солдатская память.  
Он полыми смотрит глазами  
на ноги прохожих. Но диво:  
не видит уже их, не слышит...  
Его здесь на площади нет.

Жарища. Почти накалилась  
коляска. И капелька пота  
с седого виска к подбородку  
скатилась... И черная вакса  
растаяла в банке совсем.

## БАЛЛАДА О ХЛЕБЕ

Я помню: мы вышли из боя  
в разгар невеселой поры,  
когда, переспевшие, стоя  
ломались хлеба от жары.

Ни облака в небе, ни тучи.  
Не чая попасть на гумно,  
слезой из-под брови колючей  
стекало на землю зерно.

Солома сгибала колени,  
как странник, уставший в пути...  
В Ивановке — местном селенье —  
Иванов — шаром покати!

Авдотьи кругом да Орины,  
короче — солдатики одни.  
И видим: еще половины  
хлебов не убрали они.

Уставшие — шли не с парада, —  
не спавшие целую ночь,  
мы все же решили, что надо  
хоть чуточку бабам помочь.

И тут же, по форме солдаты,  
душой же все те ж мужики,  
мы сбросили пыльные скатки,  
составили в козлы штыки.

И в рост — во весь рост! —  
не сражаться  
пошли, — петерпеньем горя,  
пошли со снопами брататься,  
в объятья их по три беря.

Мы вверх их вздымали, упрямы,  
и запах соломы ржаной  
вдыхали, хмелея, ноздрями  
на поле, бок о бок с войной.

И диву давались: когда-то,  
еще не начав воевать,  
от этакой вот благодати  
мы даже могли уставать...

Сейчас же все боле да боле  
просила работы душа.  
И мы продвигались по полю,  
суслоном чубы вороша.

Мы пели б —  
наверное, пели б, —  
работу беря на «ура»,  
когда бы ребят не жалели,  
схороненных нами вчера.

Им было бы так же вот любо,  
как нам, наработаться всласть,  
и сбросить пилотки, и чубом  
к снопам золотистым припасть.

Вдохнуть неостывшего зноя,  
и вспомнить на миг в тишине  
родимое поле ржаное,  
и, может, забыть о войне.

Забыть, что фашист насаждает,  
забыть, что у края живья  
винтовка тебя ожидает,  
а вовсе не женка твоя.

Но было забыть невозможно. Платки приспустивши до глаз, тоскливо, печально, тревожно глядели солдаты на нас.

Им виделась жатва иная...  
Они из-под пыльных платков  
глядели на пас, вспоминая,  
конечно, своих мужиков.

А мы все ломали работу,  
носились, не чувствуя ног,

седьмым умывались потом  
в последний, быть может, разок...

И слепли от этого пота,  
И очень боялись, вот-вот  
раздастся жестокое: — Ро-та! —  
И все, словно сон, оборвет.

1964

## ИВАН

Есть у нас в селе Иван —  
по прозванию Критикан.  
Если встрянет в спор — за словом  
не полезет он в карман.  
Что не так — неумолим он,  
грудью лезет на руду:  
дескать, с должности не снимут,  
что положено — дадут!  
Кроме шубы, прямо скажем,  
шапки старой да сапог,  
он себе пока не нажил  
ничего — избавил бог.  
Не добром богат он — честью!  
И, какой бы ни был сход,  
если он, Иван, на месте —  
веселей глядит народ.  
А когда его бараньей  
шубы па проходе  
не видать, то и собранье  
не собранье вроде,  
а скорей, поминки или  
день ненастной осени...  
Словно тесто растворили,  
а дрожжей не бросили.  
Все сидят что кочаны,  
благодущия полны,  
никакие перемены  
словно им и не пужны.  
Осушив бачок воды,

начинают прения:  
так и сая, на все лады  
сыплют одобрения.  
Дескать, мы, кочапы,  
подпатузиться должны  
на дворах и в поле...  
И пи слова боле!  
Что бы встать да хоть раз  
сказануть не в бровь, а в глаз,  
вскрыть все неприядки.  
Где там! Вдруг да не даст  
бригадир лошадки?  
А то, припомнив ссадину,  
возьмет и, не дрожа,  
обрежет приусадебный,  
зарежет без ножа!..  
Но прения без шума  
у нас таки редки...  
За что в селе и любят  
Ивана мужики!

1964

## ВЕСЕННИЙ БАЗАР

Люблю заглянуть на весенний базар.  
Там — вплоть до последнего ряда —  
отличный товар, ходовый товар,  
а имя товару — р а с с а д а.

Рассада? А может, о́трада? Да, да!  
А может, надежда?  
Я вежлив:  
— Отрады, — прошу, — положите сюда.  
И горсть, если можно, надежды.

Дородная тетя — весенний загар  
у ней на щеках под платочком, —



смеясь, подает мне веселый товар —  
две горсти зеленых росточков.  
И вновь в чернозем окунает до дна  
ладони... И можно ручаться:  
надежды, которые людям она  
сейчас раздает, возвратятся  
под осень сюда... И прогнутся борта  
машин, что придут с огорода.  
У тети дородной в глазах доброта,  
и вера — в глазах у народа.

А рядом, пуская махорочный дым,  
и мрачен, и жалок, и скучен,  
засеженный стоит гражданин, а пред ним  
поджаренных семечек куча.  
— Берите! — басит он. — Кому завернуть?

О как ты смешон, человеке!  
Вот осень придет — и тебя помянуть  
нам будет решительно печем...

1964

# 1965

## УЧИТЕЛЬ

Учитель... Слово-то какое!  
Учитель! Вот они бегут  
тропиночкой по-над рекою,  
поробышки, что меж собою  
тебя учителем зовут.

Бегут. Румянятся их лица.  
А в сумочках карандаши,  
тетради... И еще частица  
твоей — на всех одной — души.

Который год — ах, трудно, право,  
и вспомнить: годы так летят! —  
ты перед этою оравой  
встаешь... Который год подряд!

О сорок пять минут урока!  
О радость полной тишины,  
когда, распахнуты широко,  
глаза к тебе устремлены!

Доверчиво и беззащитно  
глядят они. И ты в кругу  
тех синих, карих глаз, учитель,  
как на нескошенном лугу.

Они опять полны вниманья,  
они любви к тебе полны.  
Они все видят!  
Только ранней  
твоей  
не видят седины...

1965

\* \* \*

Золото — благородный металл.

Ты — благородный? К черту враки!  
Ты просто модный, говорю.  
В тебе я шулера во фраке,  
а не джентльмена узнаю.

О, сколько душ ты искалечил!  
О, сколько царств ты разметал!  
Но ты не вечен, нет, не вечен  
в своем величии, металл!

Придет уже тебе расплата,  
жестоким кончится твой век.  
И, распрямясь, на горы злата  
с улыбкой глянет человек.

И не поймет, под слоем пыли  
отрыв тяжелые куски,  
зачем их прадеды копили  
и запирали под замки.

Понудивляется немного,  
а после — очень может быть —  
его — Царя землян и Бога —  
решишь на гвозди перелить.

Возьмет он гвоздь потом без страха,  
посмотрит этак свысока  
и вгонит в дерево с размаху  
одним ударом молотка!

1965

## ДЕРЕВЕНСКАЯ ОСЕНЬ

Да, сыро. Да, порою зябко...  
И все ж, наветам вопреки,  
мне осень видится хозяйкой,  
глядящей вдаль из-под руки.

А что во взгляде том? — Забота.  
А что в улыбке? — Доброта.  
Одна закончена работа,  
другая — только начата.

Глядит — и нет понятней взгляда,  
и молвит, кажется, слова:  
мол, чем богата — тем и рада!  
И наполняет кузова

машин пшеницею да рожью  
и отправляет на тока.  
И терпеливо ждет порожних,  
ждет, кулаки уткнув в бока.

Стоит — одной ногой в отаве,  
другой — в стерне... А у плеча  
птиц растревоженные стаи  
на юг проносятся, крича.

И ветер северного края,  
гудя басовою струной,  
румянит щеки ей, срывая  
багрянец с юбки продувной.

И хмурится она, на тропы  
обрушивая облака.  
Нет, не печалится — торопит  
по-матерински мужика.

1965

## ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ КОМАНДИРОВКИ

Гляжу в окно вагона:  
— Ах, скоро ли вокзал!  
Как будто бы полгода  
(пол-го-да... пол-го-да...)  
я дома не бывал.  
Летит полузашторенный  
передо мной экран...

— Эх, завалюсь-ка, что ли, я  
сегодня в ресторан! —  
Пусть скатерть самобраная  
мне явит чудо вдруг.  
Ты мне желанье странное  
прости, читатель-друг.  
И то: в ушах — мычание  
да гусениц лязг...  
И хочется отчаянно  
взглянуть, прищурив глаз,  
как там фокстроты режут  
втроем:  
одна труба,  
рояль, с утра нетрезвый,  
да пьяный барабан,  
как, обливаясь потом,  
танцуют — нелегко! —  
прибывшие с отчетами  
плешь и еще брюшко...  
Меж столиков, меж рюмочек,  
да с пятки на носок,  
вокруг высоких юбочек —  
аж сыплется песок!  
Кружится бритый окорок...  
Ох, глянула б жена —  
упала б, верно, в обморок,  
сердечная она.  
А рядышком два малых  
танцуют — не одни —  
на талиях бывалых  
четыре пятерни...  
И пряжка о пряжку  
искрят. Духота.  
И в стиле — нараспашку —  
рубашек ворота.  
Я встану, брови хмуря,  
я трешку положу  
и, вопреки халтуре,  
сыграть «Ревела буря...»  
таперу прикажу.  
И поплывет широкая  
та песня. Пусть плывет!  
Пусть этот бритый окорок

хоть дух переведет!  
И под ее рыдания,  
ее девятый вал,  
я вспомню избы дальние,  
в которых побывал,  
вас, девушки бедовые,  
на клубных вечерах,  
и вас, солдатки вдовы,  
на фермах и дворах,  
вас, мужики, над пашпеею  
в холодную весну...  
И вдруг глазами вашими  
я вокруг себя взгляну.  
Прищуренно, с грустинкою...  
И не замечу, как  
под сердце влажной льдинкою  
подкатится тоска,  
нежданная и острая...  
И мне сильнее стократ  
к тропиночкам да росстаням  
захочется назад.  
Хлебнуть ветров, настоящих  
на росах по утрам...  
Летит полужашторенный  
передо мной экран.

1965

1966

БЫЛ РАННИЙ ЧАС...

По полстакана водки вылив в глотки,  
чтоб меж лопаток выжечь холодок,  
угрюмые, они уселись в лодку,  
для виду бросив удочки у ног.

Подсачек ловко спрятали на днище (не удочкам почтение, а ему) и «бомбу», словно нож за голенище, разбойничьи засунули в корму.

Был ранний час. И тяжелели росы.  
И рыбы спали, может быть,  
когда  
жестокий взрыв потряс речное плесо —  
и вспучилась, и вздыбилась вода.

И охнула природа, словно кто-то  
ей в спину нож всадил из-за угла.  
И закипела черная работа,  
где густо рыба белая всплыла.

За лодкою вослед  
пятном неровным  
ее, как пену, к берегу несло...  
И каркали прожорливо вороны,  
с добычей поднимаясь на крыло.

*1966*

## ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ

Громобойные тюки  
на бока павьюча,  
на луга из-за реки  
накатилась туча.  
Заяхла — пу и прыть! —  
небо все в два счета  
и пошла нас бомбить  
с птичьего полета.

Ну а мы ей: «Дуй!  
Поддавай жару!  
Нам такой сабантуй  
по душе, пожалуй.  
Ведь без ливней да гроз,  
без тревог, без пота  
сепокос не сепокос,  
черная работа».

По морям, по волнам  
мы бредем босые.  
Ой, не крикнуть ли нам  
да на всю Россню:  
«Дождик, дождик, пуще,  
чтобы травка гуще,  
чтобы выше лен, чтобы  
хороводами грибы,  
ягоды кистями —  
собирай горстями!»

Дождь, дождь, припусти,  
ваше благородье,  
чтоб успело подрасти  
все, что в огороде.  
Чтобы встали под горой,  
крякнув: «Все в порядке!» —  
повобранцами в строй  
кочапы на грядке.



Расплеспись по полосам,  
поднеси напиться  
пострадавшим овсам,  
ячменям, пшеницам.

Заряди на три часа,  
чтоб не было мало,  
чтоб не только по усам,  
чтобы в рот попало!

Дождик, лей, лей, лей  
на меня и на людей!  
Что касается меня —  
лей, товарищ, хоть полдня,  
я не поперечу.  
Я рубашку скину:  
полощи мне плечи,  
полощи мне спину.

Наклонюсь: «Вот добро!  
Ну, еще кружку!  
Ну, еще одно ведро!  
Ну, еще кадушку!

Не скупись, брат! Уважь!  
Я ж таскал копны...»

И вошел дождик в раж  
и в сто пог топнул  
на моей на спине.  
Брызги из-под пяток!

Ох и весело мне  
под дождем, ребята!

1967

## ПРОТИВ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

*(Повесть в стихах)*

### ШУМИТ СОСНА

С рожденья, скрытого во мгле  
веков,  
ничем не знаменита,  
всем четырем ветрам открыта,  
здесь, против неба — на земле,  
стоит она,

моя деревня,  
с былинным именем Острец.  
Шумят у окон и крылец  
над крышами ее  
деревья.

И улочку ее одну  
ручей — два маха в ширину —  
обхватывает, как подкова.

...А председателем в войну  
была здесь Настя Корешкова.  
Не уступая мужику  
ни в чем,  
она была, ей-богу,  
из тех, кто лошадь на скаку  
остаповить, не дрогнув, могут!  
Жила она совсем одна,  
коль не считать, что возле окон  
избы ее

росла сосна,  
как и Настасья, одинока.  
Улегшись вечером в кровать  
(муж до войны пропал без вести),  
любила Настя вспоминать  
и горевать  
с сосною вместе.

Ах, вдовья ночь, как ты длинна,  
как ты жестка вдове, подушка!

И зпала это лишь сосна —  
ее давшишняя подружка.

И шум сосны над головой,  
когда и темень, и пенастье,  
то злой, то добрый, верховой,  
был утешением для Насти.

Порой, барометра точней,  
на удивление народу,  
сосна предсказывала ей  
и дождь, и ясную погоду.

Нажнут, бывало, бабы ржи —  
высокой ржи, сухой и спелой,  
снопов навязжут... А сложить...  
Сложить их в скирды не успеют.

Уйдут, шатаясь, как с вина,  
в деревню... И заснут сторожко.  
И Настя ляжет. А сосна  
вдруг встрепетется под окошком.  
И зашумит, и зашумит,  
да так, что сердце защежит!

И слышать ей неумоготу,  
как по окну сосна стегает.  
И на крылечко, в темноту,  
босая Настя выбегает.

— Не дождь ли, господи! Как раз! —  
И в избу.  
Надевает платье.  
И, не взглянув, который час, —  
бегом к своей уснувшей рати.  
Тук-тук! — и в каждое окно  
с тревогою («Успеть хотя бы!»)  
кричит пронзительно одно:  
— Сосна шумит! Вставайте, бабы!  
Вставайте, бабы, поскорей!  
Будите, бабы, ребятишек! —  
Тук-тук! — и вот уж скрип дверей,  
а вот и голос чей-то слышен:

— Взять, что ли, вилы-то?  
— Бери.  
— Гляди-ко, тьма-то!  
Дров бы надо...—  
И замелькали фонари,  
замельтешили вдоль посадов.  
И потянулись за осек<sup>1</sup>,  
по тропке, мимо крайней бани,  
по направлению к полосе,  
где днем еще трудились бабы.

А председательша в обгон:  
— Живее, бабы! — И ребятам: —  
Вздувайте, мальчики, огонь,  
пока не мокрые дрова-то!..—  
Взялись ребята-мужики  
дуть-раздувать —  
и вышло дело.  
И заметались, высоки,  
по полю тени Гулливеров.  
И — сноп на сноп — в два, в три ряда...

А скоро посредине поля  
взметнулась первая скирда  
под небо — словно колокольня.  
А там уж пятую кладут...  
Торопятся: — Успеть хотя бы! —  
Успели...  
Настя тут как тут:  
— Спасибо. Выручили, бабы!

...Давно закончилась война.  
Давно Настасьи Корешковой  
нет в Острце, живет она  
у сына где-то в Подмосковье.

Но, дружбы старой не забыв,  
едва подует ветер свежий,  
у окон Настиной избы  
шумит сосна,  
шумит, как прежде.

---

<sup>1</sup> О с е к — изгородь вокруг пастбища, поля.

Я жил напротив. И не раз,  
не два, прислушиваясь к шуму  
сосны той старой, в поздний час  
брал карандаш и думал думу.  
И справа, слева от тропы  
своей я часто до полночи  
вязал и складывал снопы  
вот этих глав. Вот этих строчек.

#### ДЕРЕВНЯ ОСТРЕЦ

Ее легко окинуть взглядом,  
деревню: улица, ручей...  
В войну на двух ее посадах  
топилось сорок шесть печей.  
И после — сорок шесть...  
И всюду,  
листочкам с черною каймой  
не веря, бабы ждали чуда:  
вернутся войны домой.  
Но не вернулись...  
И с утратой  
смирлись горестно сердца  
уставших дальше ждать солдаток...

И стали избы Острца  
редеть, старея понемногу.  
Иные даже па дрова  
пошли... и смотрят па дорогу  
теперь из них десятка два.  
И то порою через щели  
досок... Задув свои огни,  
уже давно о возвращенье  
жильцов не думают они.  
Охолодели в избах печки.  
И теремные их крылечки  
позеленели. И темно  
внутри, где духом человеческим  
не пахнет уж давным-давно.

И все ж она живет, деревня!  
Живет в трудах, певелика.

В трех километрах от правле́нья  
и от райцентра в сорока.  
Живет, латает дранью крыши  
и тянет к крышам провода.  
И тем же ветром века дышит,  
что и большие города!  
Есть ферма, школа в ней, а кроме —  
ларек (хлеб носят из ларька),  
и даже клуб бригадный  
в доме,  
доставшемся от кулака.

Здесь, на завалинке у клуба,  
с утра, остры на языки,  
о чем попало очень любят  
поспорить наши мужики.

Здесь достается, прямо скажем,  
и бригадир самому,  
и председателю, и даже...  
И даже выше кой-кому.  
Тот горячится, этот тужит...  
А смотришь, гамузом и врозь,  
все об одном: не как бы хуже,  
а как бы лучше обошлось.  
Жаль, эти шумные дебаты  
обычно очень коротки.  
Подъедет ГАЗ, и, взяв лопаты,  
штурмуют кузов мужики.  
А вслед за ними с визгом — бабы...  
Крестовым дан наряд такой:  
засыпать гравием ухабы,  
до коих тут подать рукой.  
Уехали...  
А без народа  
весь день в деревне тишина.  
И слышно, как из огорода  
Анисья гонит певуна.  
Как, самых малых за калитку  
пугнув («Папаня, прокати-и...»),  
Степан заводит «иналидку»  
и все не может завести.

А он на озеро за рыбкой  
собрался: время — самый клев...

А в небесах, над «инвалидкой»,  
сверхзвуковой турбинный рев.  
Над улочкой, над старым домом,  
над всем, что видится вокруг,  
нездешним, неправдоподобным  
Степану кажется тот звук...

#### В КЛУБЕ

В воскресенье в клуб пабилося  
всякой публики полно.  
С часу там собрание было,  
с четырех часов — кино.  
Все порядочно устали,  
а домой таки не шли:  
не впервой — чего-то ждали...  
Той порой девчата в зале  
голиками пол мели.  
И, склонясь к гармошке ухом,  
сыпал гром со сцены вниз  
не Илья-пророк — Кирюха,  
подгулявший тракторист.

То ль с того, что выпил малость,  
то ль не игрывал давно,  
он с гармошкою, казалось,  
сросся Киря заодно.  
Он сидел на самом крае  
стула — на ногу нога, —  
разбирая белых клавиш  
дорогие жемчуга.

А внизу, стараясь вдарить  
в половицу в такт басам,  
завели «четверку» парни,  
ту, что плясывал он сам.  
Ах, «чертверка» — пляска-песня!  
Не фигуры с давних пор  
в ней стоят на первом месте,

а влюбленных разговор.  
Разговор через частушку:  
«Слушай, дроля, что спою!»  
Кири сам когда-то Нюшкы  
так вот выплясал свою.  
Шестеренкою гармошка  
поперек его груди.  
Он играет — пляшет Лешка,  
пляшет Лешка Череди.  
Вот он, дробь отбив, ударивши  
ладонью о ладонь,  
встал и, глянув на товарища,  
запел... Замри, гармонь!  
Уступи, звонкоголосая,  
ему свои права,  
чтобы Светка светлокосая  
расслышала слова.

Пусть ей тыщу раз известно  
(не с того ль глаза горят!),  
что одна у Лешки песня  
вот уж сколько лет подряд,  
что она порой звучала ей  
всю почку напролет...  
Но и все-таки, отчаянный,  
пускай, пускай поет!  
Пусть подолы все и бороды  
узнают их секрет...  
А она — она не гордая,  
у нее готов ответ.

Топнув, стала на мгновение  
и, вскинувши глаза,  
спела ту, что откровеннее  
и выдумать нельзя.  
И, конечно, радость, радость,  
радость в песне той была,  
оттого, что рядом, рядом,  
рядом тот, кого ждала!

Что, не как другие парни —  
после службы кто куда, —  
он вернулся к ней из армии,



и тем она горда!  
...На скамье в углу — «комиссия»: бригадир Евдоха,  
в ряд —  
бабка Дарья да Анисья,  
мать Светланкипа, —  
сидят.  
Да Иван Жарков — серьезный  
одпорукий инвалид.  
— Оженить, пока не поздно,  
надо Лешку! — говорит. —  
А не то и этот тоже  
поживет — и тягалъ  
в город... А без молодежи  
нам — на кой она, земля!  
— Да... — отвечает Евдоха  
и вздыхает глубоко.  
Но понять значение вздоха  
бригадира  
нелегко.  
Как во сне, конец платочка  
отрешенно теребя,  
мать глядит, как пляшет дочка,  
и решает про себя:  
«Ох, недолго — годы, годы! —  
дочке, судя по всему,  
жить осталось на свободе  
во родительском доме».

А рядочком бабка Дарья  
словно мед на сердце льет:  
— Да за этакого парня  
только дура не пойдет!  
Ну и Светка, верно: статью  
и умом уж — всем взяла! —  
Мать в ответ: — Не под кроватью  
вроде найдена была...

А Кирюха рвет гармошку  
чуть не час уже подряд.  
И о чем — не слышит Лешка —  
на скамейках говорят.  
Слышит только развеселые

припевки, что ему  
лично  
Светкой адресованы —  
и больше никому!  
Он идет по кругу, топая,  
с улыбкой на губах,  
так что стонет допотопная  
кулацкая изба.  
Поддает он Кире жару,  
да и сам на высоте...  
В этот миг ему б, пожалуй,  
позавидовали те,  
кто в рубахах подпоясанных  
на сценах городов  
лихо русского отплясывать  
учились сто годов!

#### АНИСЬИНО УТРО

У Анисьи петух — поглядеть — красота!  
Белобрысым, другим, петухам — не чета.

Шпоры — ступит — звенят. Гребешок на излом.  
Вороненая сталь под багровым крылом.

Хвост — атлас папоказ. Воретник золотой.  
Жен — семнадцать, и все у него под пятой!

На высоком пасесте, под кровлей ржаной,  
просыпается первым он, как заводной.

Громко крыльями бьет по своим галифе  
и орет, ни в каком не повинен грехе,

песнь, что предок еще при Горохе-царе  
распевал на заре, распевал на заре...

«Ку-ка-рэ-ку!» — И все население двора  
поднимается на ноги дружно: пора!

Поросенок в кутке — не чесался давно —  
принимается холку терзать о бревно.

А корова, будя шаркунцом <sup>1</sup> тишину,  
сонной мордою шарить в кормушке по дну.

А ягпята — те матку толкать под бока,  
дабы лишнюю каплю добыть молока.

Тишина. Но уже через четверть часа  
двор проснувшийся стонет на все голоса.

Как баржа-самоходка, корова ревет,  
поросенок визжит и корыто грызет.

Куры — снова на сносках — кричат за стеной:  
«Кто последний в гнездо?» —

«Я... но двое за мной».

А овца: «бе» да «бе», — не найдя, что поесть,  
поровит, как петух, в подворотню пролезть.

И Анисья встает, всполошась: — Проспала! —  
И скорей за извечные бабьи дела.

Не прибравши волос, не умывшись со сна,  
первым делом лучину щепает она.

И взвизгивается зверем огонь молодой.  
— Пусть горит... — И босая бежит за водой.

Тащит ведра. И вот уж, полным-то полны,  
придвигает ухватом к огню чугуны.

Крутобокая печь раздувает меха...  
А хозяйка, пока не слышать пастуха,

хлебца корочку взяв, подоткнувши подол,  
в сапожищах, с подойником мчится во двор.

Вжик да вжик!

Поросенок встает на дыбки,  
загородку грозя разнести на куски.

По — подойник в коленях — Анисья сидит.  
— Я те, морда! — ругается. — Я те, бандит!

---

<sup>1</sup> Шаркунец — колокольчик.

Чтоб ты сдох, пустобрех! — добавляет в сердцах.  
Но уж это для красного только словца.

Потому как на деле хозяйка двора  
и к нему, до пожа, неизменно добра.

А брагится — так что ж тут такого?! Она на такое хозяйство-то пыпче — одна.

Верка, старшая, внука уже родила,  
и у Светки — полгода как свадьба была.

Слава богу, и младшей достался мужик  
неплохой; за таким жить да жить —  
не тужить!

Правда, больно уж горд да горяч на беду.  
Отчего и с Крестовым уже не в ладу,

и с самим председателем... Где бы иной промолчал, не заметил, прошел стороной —

он, отчаянный, прет, словно танк, напрямик:  
«Я солдат! И хвостом, мол, вилить не привык!»

А к хозяйству совсем не радеет. Ему и корова, послушишь, уже ни к чему.

Ох, беспутный! Да худо ль — свое молоко!  
Верно, корм и теперь добывать нелегко.

Тут охашку да там... Да тайком, по ночам.  
У нее у самой в сенокос-то к плечам

прикипает веревка...  
А как без скота?

Непадежно: картина покуда не та!  
Да и жалость в душе... И привычка притом.  
Всю ведь жизнь со скотом!  
Всю-то жизнь со скотом!

Да и внука и Верку уж с мужиком  
чем поить, как приедут? Парным молоком!

И Анисья несет добровольно свой крест.  
Целый день на ногах. Даже походя ест.

Городских-то, случалось ей видывать, дам  
распирает решительно к этим годам.

А она, словно жердь из осека, тонка,  
юбку Беркину носит — и та велика.

...Только крынки расставила в кухне она —  
глядь, пастух барабанит уже у окна.

— Слава богу, успела! —

себе говорит.

И, взглянув мимоходом, как в печке горит,

через сени опять громыхает во двор  
и с ворот широченных снимает запор.

Яркий свет ударяет корове в глаза.  
Выплывает она, как баржа из шлюза.

Следом, кур распугав, выбегает овца...  
А хозяйка с минуту стоит у крыльца,

молчаливо любуясь на шустрых ягнят.  
А потом, спохватившись, несется назад.

Выставляет из печки чугуны и пестом  
разминает картофель вареный. Потом

высыпает в ведро. Хлеба два-три куса  
добавляет. И крынку еще молока.

И выносит во двор, ублажает хряка.  
Курам что-то дает. Все как будто пока.

Закрывает заслонкою печку. И вот,  
взяв лопату, Анисья бежит в огород.

Ах, а там, в огороде, хоть оп небольшой,  
молодеет и телом она и душой.

Там она между гряд ходуном, ходуном,  
председатель — сама, и сама — агроном.

И работник сама, наконец... Красота!  
То проредит морковь, коль увидит — густа,

то картошку пророеет — теперь бы дождя! —  
то росток оборвет с помидор, не щадя.

Для Анисьи понятия нет — и е д о р о д.  
Как прикинешь, взглянув на ее огород,

что получит иль сможет она получить,  
так поймешь, что не падо Анисью учить,

как к земле подойти... Ту науку она  
постигала горбом и постигла сполна!

Раз Степанко-сосед, что живет через двор,  
в похвалу ей сказал, навалясь на забор:

— За такой урожай, коли здраво судить,  
впору, тетка Анисья, тебя паградить.

И притом не значком, не медалью простой,  
первым орденом нашим, Звездой Золотой!

Про награду-то в шутку, конечно, мужик...  
— А и что?! — возгордилась Анисья на миг. —

А и что! Поработала, было делов.  
В плуг, случалось в войну, запрягала коров.

И пахала. И жала серпом опосля.  
И допыне, поди, не впитала земля

слез-то бабьих, горючих... А после войны? —  
Да, по совести ежели, Анисье б должны

горсть тех Звезд-то бы дать!  
Дождись, дадут...  
Бубенцов-то всего лишь два года как тут.

Хоть бы пенсию дал — на исходе года.  
А Звезда... Ни к чему ей теперь уж Звезда.

Не срамил бы на старости лет — и добро.  
Ей неправое слово — как нож под ребро!

Как-то Верка прислала посылку с мукой.  
И случился как раз то ли праздник какой,

то ли день выходной... Ну, и к этому дню  
в простоте замесила Анисья квашню.

Накануне морошки она набрала —  
мягкой, сладкой в ту пору морошка была.

Так в пирог и просилась! Известно давно ж,  
что с морошкой ягодник вот как хорош!

— Угощу, — рассуждала, —  
Светланку с зятьком,  
коль заглянут... Проглотят ужо с языком!

Утром тесто на стол — началось колдовство.  
Сразу в колоб скатала Анисья его,

после пальцами сильно прошлась по бокам,  
а потом — в две руки — по щекам, по щекам!

Отступилась. Муки на середине стола  
раструсил щепотку и скалку взяла.

Р-раз — вперед, два — назад, три...  
И нет колобка.  
Разрумянилась даже Анисья слегка.

Ощутила себя молодой-молодой,  
той, какою была перед самой бедой,

не злосчастной вдовой — еще мужней женой,  
и седины у ней под платком — ни одной,

и девчушки малы еще, спят в пологу  
(«Пусть, не поздно, успеют еще к широгу»).

Хорошо на душе у Аписьи, светло.  
Вот она памочила уже помело,  
подмела угольки на горячем поду...

А в избе, с пастроеньем хорошим в ладу,  
лется песня — динамик висит на стене...

Вдруг мотив обрывается, и в тишине  
Бубенцов начинает слова говорить:  
— Надо больше косить... Надо лучше донть...

Надо совесть иметь! До каких это пор? —  
И про тетку Аписью завел разговор.

Рот открыла она и стоит. А пирог  
на лопате уже...  
— Что ж ты раньше не мог? —

закричала Аписья. — Не стыдно тебе?!  
Ишь напал, сатана! Да в моей-то избе!

Я те вот побрешу! — И в горячке она  
подскочила с лопатой к динамику: — Н-на!!

Замер враз, отлетев на четыре шага.  
На стене только гвоздь да шматки пирога...

— Ой, чего натворила-то, дура я, ой!  
Да зачем я пирог-то сгубила такой?!

На колени упала, морошку берет...  
А петух под окном «ку-ка-ре-ку!» орет,

причитаньем Аписьи в избе всполошен...  
Чувства юмора начисто был он лишен!



## ЕВДОХА-БРИГАДИР

Евдоким Егорович Крестов —  
бригадир четвертой в настоящем —  
больше десяти руководящих  
занимал и ранее постов.  
Складом он заведовал пять лет,  
фермой — год, четыре года — стадом...  
Снимут ли, назначат ли: «Раз надо,  
значит, надо!» — вот его ответ.

Хоть бы раз пошел наперекор,  
хоть бы покуражился для вида.  
Нет! Вздохнет: «Такая уж плапидла!» —  
И бежит на склад или во двор.

Года через три после войны  
он узнал и сладость высшей власти:  
не нашлось другого — после Насти  
стал он председателем «Волны».

Небольшой в ту пору был колхоз.  
И, однако ж, выяснилось скоро,  
что пока Евдоха, сын Егора,  
до поста такого не дорос.  
Поначалу, верно, те и те  
выполнял задания он исправно.  
В смысле ж «первой заповеди» явно  
оказался не на высоте.  
Посудите сами: шла страда,  
и ему, покуда еще с пеба  
не лило, о плане сдачи хлеба  
следовало б думать как всегда.

Он же (гребень, так сказать, «Волны!»),  
чтоб живее шла работа в поле,  
взял да килограмма по три, что ли,  
людям и раздал из повинны.  
Бабы запустили жернова.  
А в колхоз толкач от райсовета  
прибыл — и когда узнал об этом,  
вот такие вымолвил слова:  
— Ты, Крестов, идешь на поводу

у людей с отсталым самым взглядом!  
Так ведь можно — думать, братец, надо! —  
не туда прийти... Имей в виду. —  
И еще добавил он, скорбя,  
фактов ряд припомнив мимоходом:  
— Нет, не можешь ты, Крестов, с народом...  
Мамино сердечко у тебя!

Все! И загремел Евдоха вниз,  
как ведро с высокого крылечка.  
Но осталось «мамино сердечко»,  
прилепилось словно банный лист  
к мужику...  
И верпо: мягкотел.  
Да к тому ж рассеян — вот что плохо.  
Поглядишь: жарница!  
А Евдоха  
валенки с галошами надел.  
Утром вскочит, а они как раз  
на глаза ему и попадутся.  
«После забега переобуться  
в сапоги, мол. Некогда сейчас».

Убежит соседке дать паряд.  
Ну, а через час-другой передко  
валенки его от той соседки  
в десяти верстах уже пылят.  
Диво ли: бригада велика,  
а людей, известно, маловато.  
Оттого с восхода до заката  
полон рот хлопот у мужика.  
Всех торопит. Сам всегда спешит.  
И оброс, посмотришь, и вспотел он.

Но беда: порой не столько дело  
сдвинет с места, сколько насмешит.  
Подлетит: — Работаете че?  
— Да ниче... Па солнце пятки греем.  
— Ну, давайте-вайте! Да скорее! —  
криклет на ходу через плечо  
и опять белеет вдалеке  
в брюки не заправленной рубашкой...

Хуже нет ему — писать бумажки:  
карандаш не держится в руке.  
Как ледышка — так и норовит  
выскочить. И выскочит! А надо —  
председатель требует — наряды  
за декаду  
в требуемый вид  
привести. И вовремя в село  
отослать... Да лучше бы Евдоха  
речь какую в прениях отгрохал,  
хоть ему и это тяжело.

Хочется вернуть ему всегда  
покарасивше слово, городское.  
А его, такого, под рукою  
пет — и хоть ты тресни! Вот беда!  
До чего ж завидует в тот миг  
он говорунам, каких немало  
и в «Рассвет» порою наезжало...

Вот язык у тех — так уж язык!  
Как начнут рубить им — будь здоров!  
Словно саблей острой — до победы!  
Было: умолкали даже деды,  
согласившись с тем, что наши беды  
происходят все от клеверов.  
Что настало время из полей  
выжить стародавних «королей»  
и решить назревшую проблему,  
утвердив на троне «королеву», —  
с королевой, дескать, веселей.

Оп, Евдоха, тоже воевал  
за нее тогда.  
Собственноручно,  
как учили, чуть ли не поштучно,  
в землю «королеву» зарывал.  
И хотя она кой-где взошла,  
листьев пики выбросивши дерзко,  
но в своем величье королевском  
явно не уверена была.

А к нему в то время, как на грех,—  
до сих пор Евдоха помнит это —  
прибыл человек из райгазеты,  
чтобы зафиксировать успех.  
Вытащил блокнот из пиджака,  
взял три цифры круглых на заметку  
и, небрежно, как на табуретку,  
глянув, огорошил мужика:  
— Так, отлично! А теперь портрет  
сделаем... Попробуем в обнимку  
с «королевой». Этому снимку  
сотня позавидует газет!

Приглядел местечко на конце,  
где была повыше «королева»,  
и сказал Евдохе, чтобы слева  
встал он с выраженьем на лице.  
И нацелил фотоаппарат  
на него. Но тут же скорчил мину:  
— Нет, не то. Не смотрится. Не примут.  
На колени встать придется, брат.  
Да, вот так... Отлично! Молодец! —  
Сам же в борозде залег напротив  
и, прицелясь, как из подворотни,  
снял-таки Евдоху наконец!

Снял и укатил. А Евдоким,  
вдруг сообразив, что сделал плохо,  
грохнул кепкой оземь: «Ох, Евдоха!  
И доколе будешь ты таким!  
Даже на колени встал!  
Умрешь...» —  
думал он, шагая к деревеньке.  
Встал бы уж еще на четвереньки —  
и тогда бы вовсе был хорош.

Через день («И влип ты, Евдоким!»)  
снимок тот увидел он в газете.  
«Вот какая выросла в «Рассвете»  
кукуруза!» — значилось под пим.  
Хохотали люди: — Ну Крестов!  
И везет же в жизни человеку! —

А Евдоха бедный с моста в реку,  
был, пожалуй, броситься готов.  
Тут же, чтоб спасти авторитет  
(«Пусть узнают все Крестову цену!»),  
он себе потребовал замену,  
потому как знал: замены нет.  
Ни в одной из четырех бригад  
не было такого человека:  
всякий, кто хоть что-нибудь кумекал,  
был уже у власти. Был — и снят.

Но пришел со службы Чередип.  
Молод и характера крутого.  
Если кто и мог теперь Крестова  
заменить, так это он один.  
Он! Другого — где его искать?  
Это стало ясно Евдокиму  
сразу: «А и что! Возьмут и снимут.  
И порядок в танковых войсках!  
И порядок! — как оп, чертов сын,  
говорит и к слову и не к слову».

В общем, беспокорно жить Крестову  
стало, как верпулся Чередин.  
Сами рассудите: что ни день,  
повые Евдохе обвипенья:

— Молишься в лесу на всякий пенё,  
не имеешь собственного мнения!  
В конной сбруе только ты мастак.  
А в моторе — оп, брат, не уздечка! —  
что тебе свеча, Крестов, что свечка —  
все едино. Как же это так?  
— Всем осточертело по утрам  
слушать тарарам твой да придирки.  
Для правленья, может, бригадир ты,  
а для нас — обходчик по дворам.  
Ведь тебе положено башкой  
понимать, где прибыль, где убыток...  
А короче, вредный пережиток  
ты, Евдоха! Вот кто ты такой!

Председатель тоже как-то раз  
на него с подобными речами  
палетал...  
И он не без печали  
думал, засыпая в поздний час,  
что не миновать ему, однако,  
топать вместе с бабами в поля.  
А ведь поотвык: лет двадцать с гаком  
был у руководства, у руля.  
Не с войны ли...  
сотки ни одной  
не вспахал, не сжал...  
Вот будет смеху!

Но Алешка взял да и уехал.  
Туча пролетела стороной.

#### РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

Уехал... А ведь этого могло  
и не случиться. Ах, когда б не ссора  
с Евдохою опять, из-за которой  
его и закружило, понесло,  
как маленькую цепку в половодье...  
Куда? Он сам не знал еще — куда.

А было так.  
Алешка при народе  
сказал в глаза Крестову, как всегда,  
что тот и пьет, и запустил учет,  
и не доводит вовремя нарядов...  
И никому постому в бригаде  
прилично заработать не дает.

А Евдоким Егорыч, оскорблен  
Алешкою, язвительно ответил:  
— Так, так... За длинным гонисься рублем?  
А может, на мое местечко метишь?

Тут и пошло!.. Прерывисто дыша,  
Алешка встал, багров, с Крестовым рядом:

— Послушай же!..—

Тот отступил на шаг.—  
Мне места твоего, Крестов, не надо!  
Не надо! Потому что Чередин,  
запомни это, не из тех, кто с ложкой!  
Ты просто плохо знаешь, бригадир,  
Чередина Алешку!  
Мне впору, бригадир, и рычаги,  
мозоли на ладонях от которых...

А через сутки после этой ссоры,  
тяжелые, уже в стенах конторы  
Алешкины гремели сапоги.

Кивнув Жаркову (сидя на полу,  
Иван с трудом сворачивал сигарку),  
с подчеркнутой бравадой, вразвалку  
Алешка двинул к главному столу.  
Растер окаменевшее лицо,  
сказал, присев на стул небрежно с краю:  
— А я... того... товарищ Бубенцов,  
я к вам пришел сказать, что уезжаю! —  
И заключил, собравши всю отвагу: —  
Я не шучу, прошу иметь в виду...  
А впрочем, так: давайте мне бумагу —  
и точка! Не дадите — так уйду.—  
И раздавил о блюдце сигарету.

Жарков сорвался с места:

— Во сынки!

Бегут, мерзавцы, как клопы от света...

Чуть что — и прощевайте, старики!

Не любите вы землю! Мы, бывало...

— Мы, мы! Что воду в ступе зря толочь!

«Не любите!» А как,— спросил с запалом,—  
когда ее терзают кто попало,

а ты ничем не можешь ей помочь?!

Когда тебе одно твердят: «Команда

была иль нет? И делай, не грешни».

Какая тут любовь уж!.. И не надо

о ней, Жарков. Не береги души.

— Но ты ж мужик!

— Какой там я мужик!

Поденщик я! Наряд свой отработал,  
пришел домой — и с плеч долой забота,  
и незачем, и не о чем тужить.  
Бывало, глянешь в поле, где трубил  
в страду, а там одна сурепка только.  
Обидно станет, верно. Даже горько...  
А стыдно? Нет! Не больше, чем другим.  
Да, поле я нахал. Но засеивал  
не я! И сорнякам позволил, кстати,  
все задушить не я, а председатель,  
поскольку он «команды» не давал.

— Вот-вот, к о м а н д ы!..  
В том-то и беда, —  
сказал Жарков. — Привыкли по указке.  
Небось на приусадебном участке  
и без указки...

— На участке — да!  
Не прогляжу: за мной он, огород.  
Но много ли мне радости от грядок,  
когда на общем поле беспорядок?  
Но мне бы, лучше все наоборот!  
Чтобы не грядки — брюква да морковь, —  
а поле мне покоя не давало,  
чтобы оно — любовь так уж любовь! —  
не за рукав, а за душу держало!  
Чтобы оно влекло меня к труду...  
Чтоб от него я и в беду — ни шагу!  
А впрочем-то, давайте мне бумагу —  
и точка! Не дадите — так уйду!

— Ух, расшумелся! — Встал и по плечу  
похлопал Лешку Бубецов устало: —  
Ты что же? Зарабатываешь мало?

— Да нет... А оставаться не хочу!  
Пускай уж тут командует Крестов...  
Да и осточертело за болотом  
сидеть, сказать по правде. Ничего-то,  
коль глянешь, не видать из-за кустов!  
Приедешь с поля, распахнешь окно,  
а там одна лишь редька в огороде...



А мне, вы извините, на пароде  
пожить охота. С шиком! Как в кино!

— И все ж бумагу я тебе не дам! —  
отрезал Лешке председатель круто. —  
Да, где-то, может, пужен ты кому-то,  
но во сто крат нужней ты, Лешка, нам!  
Запомни это крепко: во сто крат!  
Сам знаешь, сколько дел-то у бригады...  
Надумаешь вернуться — будем рады,  
дорога не заказана назад.

#### ДОРОГОЙ ЖУРАВЛЕЙ

Нет, не спалось. Откинув полог,  
раздумий невеселых полон,  
лежал Алешка на спине.  
В дверях распахнутых сарая,  
далекие — одна, вторая, —  
дрожали звезды в вышине.

Скрипел дергач в логу, за кручей.  
И, прислонясь к его плечу,  
Светланка плакала. Беззвучно.  
Порою вздрагивая чуть.  
В душе ее была досада,  
и страх, конечно, и печаль.  
«А надо ль, Лешенька, а надо ль  
в такую даль, в такую даль?!»

Ах, даль! Она ее пугала,  
но вместе с этим и звала,  
манила тоже, но... так мало  
ее черемуха цвела!  
А время близилось к рассвету.  
И было ясно лишь одно,  
что утром он уйдет, что это  
бесповоротно решено.

...Колесный, старенький, обычный,  
сквозь строй сосновый, палегке  
плыл парходик-невеличка

по тихой северной реке.  
Дым, словно шарф, откинув влево,  
плыл... А на палубе один,  
чуб придавив танкистским шлемом,  
сидел Алешка Чередин —  
механизатор из «Рассвета»...  
Знобило. Скверные дела.  
Он закурил, но сигарета  
лишь только губы обожгла,  
но не согрела. Было рано.  
Тянуло стужей от реки.  
И Лешка, черные, в карманы  
засунул глубже кулаки.

А парходик шлеп да шлеп,  
как научился исстари.  
То встречному гудок пошлет,  
то, басовитый, пристани.  
Но только эхо иногда  
ему и отзовется.  
А сколько в прежние года,  
бывало, соберется  
народу тут.  
Обнять дружка  
иль проводить подружку...  
А кто буфетного пивка  
с устатку выпить кружку.  
Те молоко продать несут,  
те в туесках морошку...  
А сколько спето было тут  
частушек под гармошку!  
А сколько пролито тут слез...  
И то, сочти, не триста ли  
он мужиков на фронт увез  
с одной вот этой пристани.

Увез... А помнится, назад  
привез — не через год ли —  
на костылях пять-шесть солдат  
да под конец с полсотни.

Потом еще — не стариков,  
а молодого люда —

увез он сорок сороков,  
наверное, отсюда.  
На стройки, в вуз — кого куда...  
Назад все эти годы  
он возит внуков. Иногда  
посылки, переводы...  
Сказать короче, Лешка был  
среди молодых не первым,  
кто, бросив родину,  
уплыл...

Не первым — это верно.  
Ну, а душа-то все равно  
болела! Ведь любил он  
свой край и все, что им дано  
ему с рожденья было.  
Приучен с детских лет к труду,  
любил он, непоседа,  
особо  
вещную страду.  
И устали не ведал!

Ах, этот светлый миг, когда  
под крик поспевших с юга  
птиц  
задымится борозда,  
прочерченная плугом!  
Когда земля, пригубив чуть  
веспы хмельную чашку,  
во всю-то мощь, во всю-то грудь  
вдохнет, рванув рубашку!..

...А пароход: «Бегу, бегу-у!» —  
кричит у переправы.  
Стога — на левом берегу,  
дымок костра — на правом...

Дымок костра, дымок костра!  
Припомнилось: давно ли  
пастушьи, с самого утра,  
палил костры он в поле.

А сколько в памяти костров  
рыбачьих! Те, бывало,

пугая дымом комаров,  
горят до зорьки алой.  
Ах, те костры! Дрова — ольха.  
Огонь почти до неба.  
В котле отменная уха,  
в руке краюха хлеба.  
И ложка есть. Теперь соли,  
перчи на вкус и пробуй.  
— Ого, такой ухи цари  
не хлебывали сроду!

...А пароход спешил домой,  
работал через силу,  
все невозможней за кормой  
потягивая жилу,  
никем не видимую, ту,  
что сердце молодое  
и через сотую версту  
еще тянула к дому,  
не отпускала от земли,  
от голубого края...  
Вот так, наверно, журавли  
тоскуют, улетаая...

#### СЕНОКОС

Евдоким свою бригаду,  
за разбросанность кляня,  
объезжает, если надо  
дать наряды, до полдня.

Непростая это штука...  
Ступит он через порог,  
видит: эта нянчит внука,  
этот сильно занемог.

Та — старуха: вышли годы.  
Тот не стар, но инвалид:  
пакануне непогоды  
огнестрельная болит.

Этой в город к сыпу падо,  
той гостей встречать как раз.  
И выходит: дать паряда  
просто некому подчас.

Но и все-таки в четвертой  
не всегда людей в обрез:  
сенокос пастал — из мертвых,  
поглядишь, иной воскрес.

И скрипит, а — на вот! — косит.  
Косят все: учепики,  
старики и... даже гости,  
а точней, отпускники.

Знают, две иль три недели  
пропадая на лугу:  
девять центнеров — артели,  
а десятый твой в стогу.

Председатель, прямо скажем,  
никому, кто держит скот,  
даже маленьких поблажек  
в смысле сена не дает.

У него такое право.  
У него такой расчет.  
...То ль роса по диким травам,  
то ль соленый пот течет.

\* \* \*

Над мокрым лугом скрип коростелей.  
В низинах, словно омуты, туманы.  
Ведет прокос Жарков. С косою Ивацу,  
пожалуй, всех, кто косит, тяжелей.

Хоть правая его за двадцать лет  
в делах, что делать левая умела,  
порядочно уже поднаторела,  
а все ж не заменила левой, пет.

Приходится косьевище ремнем  
поддерживать, ремень тот перебросив

через плечо... Влажна, когда он косит,  
как в дождь, рубаха белая на нем.

И сбивчиво звенит его брусок,  
когда он правит косу за кустами.  
По лезвию, по высветленной стали  
с росой пополам струится сок.

**И солища невысокого лучи  
дробятся в необруенных росинках.  
Под лететанье листьев на осинках,  
кончают перекличку дергачи.**

Но не смолкает в утренней тиши  
коса, в траву ныряя словно щука.  
Да, это так: косить Жаркову — мука.  
Но, черт возьми, и праздник для души!

И радости такой себя лишать  
не хочет он, пока есть в левой сила.  
И — гордый — не торонится ни сына  
из города, ни дочку приглашать.

Размеренно, шагов не торопя,  
как может, косит сам —  
                                до дрожи в теле.  
Семь... восемь... девять махов  
                                для артели,  
десятый — самый трудный — для себя.

Устанет даже левая рука,  
которой пет... И вспомнится неожиданно  
тот самый бой, полузабытый, давний,  
в предместье небольшого городка.

Тот бой вдали от родины, когда  
осколком напрочь левую отбило.  
Переживал. Жалел. Обидно было:  
такие ль брать случалось города!

**И то сказать: едва не всю войну на фронте был! А вот теперь в палате...**

Какими же словами об утрате  
Марусю известить ему, жену?

Не знал он слов таких. И потому  
молчал. И каменел порой в молчании.  
Как вдруг она, негаданно, печально,  
Марусенька, приехала к нему!

Уткнувшись в одеяло головой,  
и плакала — известно дело — баба! —  
и улыбалась горестно и слабо,  
и все твердила: — Родненький, живой!

А он, смущен под взглядами солдат,  
басил: — Чему ты радуешься, Мапя?  
Ведь без руки же я... Что делать станем?  
У нас же, Мапя, четверо ребят.

Она, смахнув слезинку со щеки,  
наивно утешала: — Эко лихо!  
Что делать?! Да у нас ведь на двоих-то,  
ты посчитай-ка, будет три руки!

Все сделаем! Да ты о том пока,  
родной мой, и не думай: хватит силы!  
А то, что рада, — верно, рада, милый.  
Ни одного в деревне мужика!

И многим уж, паверно, никогда  
не видывать родной своей сторонки.  
Послышишь: в каждом доме похоронки,  
у каждой женки — горе да беда.

...Иван, чтобы забыться,  
на валок  
садится, положив в сторонку косу.  
Прикуривает долго папиросу  
и смотрит в синий неба потолок,  
где старый коршун, крылья распластав,  
паря, кругами ходит все, кругами  
над озаренным лесом, над лугами,  
сплошь в желтых, синих, розовых цветах.

Он смотрит, различая все полней  
и листьев лепет, и игру теней,  
и думает, растроган красотою:  
земля извечно к людям с добротою  
и с радостью... И ежели на ней  
есть страх и ужас, горе есть и зло —  
она к тому несколько не причастна.  
Ей, созданной для радости и счастья,  
пока что в этом просто не везло.

Но повезет! Не так уж стар он, шар!  
Заблещут на боках его покатых  
пожар восхода да пожар заката,  
а не другой какой-нибудь пожар.

Не тот, которым оп, Иван Жарков,  
и сам был опален. Не тот, чье пламя  
теперь ревет над крышами Вьетнама  
и видится со всех материков.

Бывает, что про «варварский палет»  
и Манечка услышит пенароком.  
— О боже! — перекрестится широко  
и так при этом горестно вздохнет,  
жалея тех, далеких, матерей,  
что даже у него мороз по коже.  
— Ужель опять война?! Не дай ты, боже,  
дожить, а дай ты прежде умереть! —  
Вот как досталась Мане та война...  
В полях одна — не год, не два к тому же, —  
а дважды два — за братьев и за мужа  
должна была управиться она.  
Все ждало рук ее: земля и дом...  
И что там говорить — солдат был сыт-то  
в те годы не заморскою посылкой,  
а хлебом Марьи, Марьиным трудом!

...Жарков встает. И снова, от куста  
и вплоть до леса, меряет шагами  
лужок... А коршун в небе все кругами,  
кругами ходит, крылья распластав.



И мысли — тоже: круг и снова круг...  
Дойдет до леса он — и вспомнит вдруг,  
что тут когда-то тоже было поле.  
И рожь шумела спелая — давно ли! —  
и по весне пласты ворочал плуг.

Что мужики то поле (сами власть!)  
делили тоже. В непогодь и слякоть.  
И если ошибались хоть на лапоть —  
все начинали снова, матерясь.  
Потом тянули жребий мужики.  
Потом, лопатой только да руками,  
на полосе закапывали камни  
и стаскивали в кучи камешки.  
...Все выше солнце. Звонче высота.  
Пот катится с лица Жаркова градом.  
А он лужок окидывает взглядом  
И тихо произносит: «Красота!»

#### ХЛЕБ РАСТЕТ НА ПОЛОСЕ

Четвертый завершили стог.  
Последним взмахом в землю вилы —  
и под кусты. И в холодок.  
Перекурить, набраться силы.  
Здесь тишина. Но овода  
волотобрюхие нередко,  
как пули, посланные метко,  
все ж залетают и сюда.

Кирюха, сбросивши с плеча  
рубашку, ставшую тяжелой,  
над родничком, по пояс голый,  
блажечно плещется, рыча.

Иван Жарков, еще и пот  
не утерев — рук не хватило, —  
квас из бутылки прямо пьет,  
кепчонку сдвинув на затылок.

Анисья — та свое добро  
выкладывает из корзины:

и молоко, и лук-перо,  
и хлеб насущный, магазинный.

Потом подходит Евдоким.  
Устало крикнув: «Фу, жарница!» —  
он валится, невозмутим,  
без приглашения в ноги к ним  
и принимается за пищу.

Едят. А сами на луга  
все смотрят. На сердце тревога:  
«Сухое сено. Сена много.  
Успеть бы до ночи в стога!»  
— Беда! — вздыхает бригадир,  
достав из пачки сигарету. —  
Теперь из города, гляди,  
и представителей-то нету!

И все смеются, вспомнив, как  
в бригаду, чтобы «напряжение  
создать и выиграть сражение»,  
четыре сразу мужика  
явились! А за ними вслед,  
как говорят, во всеоружье,  
инструктор комсомольских лет  
с докладом «О любви и дружбе».

Евдоха взял и приволок  
сюда их, где возле опушки  
в тот день как раз метали стог  
два старика да три старушки.

— Привет, товарищи! Привет... —  
И увидели, сникнув сразу,  
что у старух «энтузиазму»  
хоть отбавляй, а силы нет.  
Стоят. Не ведают, как быть,  
что молвить?.. Выручил Евдоха,  
сказав, что было бы неплохо  
старушкам малость пособить.

— Ты прав, пожалуй, Евдоким. —  
Взялись за грабли да за вилы —

и пу один перед другим  
уменьем хвастаться да силой!  
И каждый тщился разом взять  
на вилы груз полутележный,  
дабы к крестьянству принадлежность  
свою  
воочью доказать.  
Конечно, дело до конца  
не довели, упарясь скоро,  
но па лугу таки, бесспорно,  
все ж поубавилось сенца.

...А тень все дальше от куста.  
Кирилл, стряхнув с коленей крошки,  
вдруг пожалел, что нет Алешки:  
— С Алешкой было б — красота!  
Теперь уже наверняка  
в стогах сенцо-то бы лежало!  
Эх, зря ты милого зятька,  
Анисьюшка, не удержала!

— А для чего? Уходят все...  
У молодых своя дорога!  
И дочку, ежели Алексей  
припишет, что держать-то?!  
С богом!  
И то возьми в расчет: они  
кончали оба восьмилетку.—  
Анисья глянула на Светку: —  
Мешать ей — боже сохрани!

— Ну что ж...— Анисьины слова  
задели Кирию, не иначе.—  
Они ученые, права.  
А я, Рубахин, пеуч, значит!  
Им, значит, здесь того... темпо!  
Безденежно! И в том же духе.  
А мне, Рубахину Кириюхе,  
поскольку неуч, все равно!

А почему я неуч? Ты  
забыла?

Я с тобою рядом,  
когда мне в пятый было падо,  
ворочал на поле пласты!  
Забыла ты, что я войне  
и детство отдал и ученье?  
И что ж, теперь за те мученья  
еще рассчитывать мне?

А па-кось! Больно ты умна:  
копчайте, дескать, восьмилетку,  
ну, а потом и с богом, детки,  
и ваше дело сторона!  
Ну ладно. Выучатся все.  
Все подадутся в город. В люди!  
А жрать-то что, Анисья, будем?  
Ведь хлеб-то — он на полосе  
растет!  
А неучей-то пет!  
У всех дипломы из кармашек...  
Так кто ж ту полосу распашет?  
Кто? Дай, Анисья, мне ответ!

А та: — Ты что? Сошел с ума? —  
И поднялась, одернув платье.—  
Я не министр тебе, орать-то!..  
Я неученая сама.

#### ГОСТЬ

Меж ям да колдобин печатая след,  
веленая «Волга» катилась в «Рассвет».  
Топталась у лужицы всякой, боясь  
короткими лапками вляпаться в грязь,  
глаза округляла и фыркала зло,  
откинув, как божья коровка крыло,  
блестящую дверцу... Лежало шоссе  
пред нею во всей первозданной красе!  
Шоссе, о котором и ходит как раз  
по свету вот этот веселый рассказ.

У бабки Акули (печальный удел!)  
последний, единственный зуб заболел.

Да так заболел, что ни есть и ни пить.  
И вздумала бабка его укрепитъ.

До города двадцать четыре версты.  
Идет Акулина. Мелькают кусты.  
По вот за рекой, у восьмого кола,  
нежданно машина ее догнала.  
Шумнула и встала на полном газу.  
Шофер Акулипе: — Садись, подвезу! —  
И та обрадела: — Спасибо, родпой! —  
И влезла. И села к кабине спиной.

Машина сначала, едва не с версту,  
на брюхе ползла. А потом на мосту,  
дыру впереди не заметив,  
подбросила бабку на ветер...

И тут же с разгона — померк белый свет! —  
махнула, взревев, через гиблый кювет,  
опять же ручей переехала вброд.  
И села, да так, что ни взад ни вперед.

Шофера нехстати смутив пятаком,  
потопала дальше старуха пешком.

По, диво, у двадцать второго кола  
машина Акулю опять догнала.  
Чихнула и встала на полном газу.  
— Садись, Акулина, теперь довезу! —  
Шофер из кабины ей крикнул. — Не трусь.  
— Ой, милый ты мой!

Да ведь я тороплюсь! —  
Сказала, прикрывшись от солнца рукой,  
и двинулась дальше, махая клюкой.

С тех пор пролетело порядочно лет.  
И бабки Акули в живых уже нет.  
И списана та грузовая машина.  
Но лучше не стала дорога в «Рассвет».  
Не стала. Хотя ежегодно колхоз  
решал, заострял о дороге вопрос,  
и ставил ребром, и вперед выдвигал,  
и в этом ему сельсовет помогал.

Не стала! Порой даже летом туда  
добраться немалого стоит труда.  
На «Волге» — тем более: тысячу раз  
припомнишь про бабку Акулю рассказ,  
пока доберешься, прорвешься пока...

Зсленая «Волга» везла земляка.  
Он не был в родной деревушке сто лет!  
И вот, получив пенсионный билет,  
от нечего делать — машина своя! —  
решился проведать родные края.  
Он думал: уж скоро дороге конец.  
Как вдруг на виду у деревни Острец  
ввалился...  
Ни право, ни влево руля —  
как будто разверзлась родная земля!

...Крестов у крылечка седлал меринка,  
в луга собираясь смотаться, пока  
дождя не нагпало...

И вдруг за спиной  
услышал он баса раскат громовой:

— Добры ж земляки у меня! До сих пор  
дорогу паладить не могут... Позор!  
Раз десять на трех километрах засел.  
Угробил мотор, понимаешь, совсем.  
Вода, понимаешь, с обоих боков...  
Короче, давай, бригадир, мужиков! —  
Крестов растерялся: с одной стороны,  
вытаскивать всех мужики не должны,  
согласно уставу. С другой стороны  
(он глянул па синие с каштом штаны),  
беду на себя пакликать ни к чему...

А час погода у Евдохи в дому  
шумело застолье. Натурой земляк  
платил за услугу. И лился копьяк.  
Отличный копьяк, заграничный копьяк!  
Евдоха три раза хватил и обмяк.  
— Да я, да тебя!.. — он кричал земляку. —  
Застрянешь ипо — па себе сволоку! —  
И смахивал пьяную с носа слезу...

А гость восседал — ни в едином глазу.  
Стаканы на стол приседали, легки,  
и что-то про сено плели языки,  
потом про былую войну. И опять  
про сено! И гость не сумел устоять.

В стакан с коньяком выжимая лимон,  
сказал захмелевшей компании он:  
— Ох, тошно глядеть мне на вас, мужики!  
Все те же, все те же вы соб-ст-вен-ни-ки!  
Плывете все вместе — лет тридцать тому! —  
гребете же всяк к бережку своему.  
И, видно, придется кому-то не раз  
руля довернуть, чтобы выправить вас.  
Иными словами — настроить струну:  
две ваших души переделать в одну.  
— И-не вый-дет! — Крестов перебил земляка. —  
Во, видишь? К себе она гнется, рука!  
К себе! — повторил. — А не па-о-бо-рот. —  
И вылил стакан, в подтверждение, в рот.  
— К себе, говоришь? Погоди, Евдоким... —  
Вмешался Жарков, инвалид без руки. —  
Да, да, погоди! Потому как не прав.  
Вот эта... — он левый потрогал рукав, —  
я помню отлично: вот эта рука  
умела гранату, и жало штыка,  
и пож, если надо, и просто кулак  
послать, от себя разогнувшись, вот так!

Он двинул в пространство остатней рукой.  
А гость с удивлением: — Ух ты... какой!  
— Нас много таких! — не смутился Жарков. —  
И женщин, не только одних мужиков.  
Их руки — и это не просто слова —  
сгибались не год, землячок, и не два,  
то хлеб отгружая, то леп теребя,  
и чаще, скажу не соврав, от себя!  
И ты, Евдоким, повторяю, не прав. —  
И сел. И заправил за пояс рукав.  
— В-вапошка! — шатнулся Рубахин Кирилл  
к Жаркову. — Ты пр-равильно все говорил!  
И печего нас... Огляпись-ка, сова,  
чем курицу хаять, сама какова!

#### КИРЮХИНО ПОХМЕЛЬЕ

Час похмеля — Нюшкин час.  
Нюшка словно порох!  
Подвернется таз:  
р-раз!  
И скосит на мужа глаз:  
«Пусть встает, боров!»  
Два! — ведро заодно  
катится от Нюшки.  
Дверью хлопнет — все равно  
выстрелит из пушки.  
Хлопнет так, что кирпичи  
певельнутся в печи,  
дрогнут стены дома.

Мертвый, кажется б, вскочил  
от такого грома!

Но Кирюха — черта с два! —  
он хитрей, Кирюха:  
у него голова  
и еще два уха!  
Сплю, мол, сплю, — сделал вид.  
Ну, а сам чует,  
как жена его костит,  
языком врачует.

— У, пьяпчужка! — берет  
за больное место. —  
Рот-то шире ворот  
на вило, известно!  
За сто верст — помахать  
«белою головкой» —  
побежишь... Ох, связать  
всех бы вас веревкой,  
всех, надежной, одпой,  
во главе с Крестовым, —  
да и в омут головой,  
не мешали чтобы  
жить...



Кирюха лежит  
неподвижной смерти.  
Муха под посом жужжит —  
все равно терпит.  
Поднимает пыль поздрей  
с половицы шаткой,  
лишь ресницами порой  
шевелит украдкой.

Поскорей бы из избы  
черт унес Нюшку,  
чтобы встать, раздобыть  
где-нибудь чекушку.

Наконец, еще разок  
дверью хлопнув лихо,  
Нюшка вышла за порог,  
и в избе («Всему свой срок!»)  
сразу стало тихо.

— Все, встаю! — открыл глаза  
и от пола голого  
оторвал сначала зад,  
а потом уж голову.  
Сел на стул, как прирос,  
смотрит истуканом.  
Пачку мятых папирос  
отыскал в карманах,  
закурил не спеша —  
все равно горит душа  
и в башке разряды...

Депег в доме — ни гроша,  
а лечиться надо.

Аж губу прикусил,  
занят мыслью грешной...

В долг — проси не проси —  
ни за что, конечно,  
не отпустит продавец...  
Сдай, мол, магазину  
шерсть, к примеру, с овец

аль яниц корзину,  
и тогда — пятью пять —  
пей хоть до упаду!  
Мне, мол, плац выполнять  
все одно падо.

Вот и весь разговор...  
В сердце боль тупая.  
И выходит он во двор,  
тяжело ступая.  
Свет не мил.  
В душе — тоска,  
а на лбу испарина.  
Шерсть — ту нечего искать:  
раньше отоварена.  
И «расчет» за то сполна  
получен от Ньюшки.

Но... еще статья одна  
не исчерпана до дна:  
курицы-несушки!

И Кирюха с головой  
погрузился в дело:  
ларь обшарил в кладовой,  
действуя умело,  
все поставил вверх дном,  
все углы оползал,  
распалясь, заодно  
заглянул и в гнезда.  
— Все... — И сел на сундук,  
и вздохнул: — Мало... —  
Девятнадцати штук  
ровно не хватало.

Вдруг — он даже привстал! —  
вспомнил, что два воза  
бабке Дарье давал  
со двора навоза.  
— Надо ж, чуть не забыл! —  
выдохнул Кирюха.  
...Два шага до избы,  
где живет старуха.

Постучался, за порог  
переставил ногу:

— Аль жива?

— Жива, сынок...

— Ну и слава богу!

Сел, волнуясь слегка,  
глянул из-под козырька.  
Начал издалёка,  
с тонкого памека:

— А у тя, брат, сейгод  
огород — не огород,  
загляденье просто!  
Глянь ботва-то как прет!  
С человека ростом!

Помолчал: дошло иль нет?

Не дошло. И снова:

— Мол, тебе сколько лет,  
Дарья, а здорова.

У меня ж со вчера  
в теле лихорадка...

— Болен — есть дохтура, —  
увильнула бабка. —

Соберись-ко, сынок,  
да и марш в город! —

И, оставив чугунок  
от огня на шесток,  
глянула с укором: —

Все гуляешь, Кирилл,  
все шумишь, слышу.

Ты бы лучше починил  
на избе крышу.

Нюшка баяла, худа  
крыша-то, вся в дырах...

— А чипить-то мне когда?

Коли в дождь — так сыро,  
а коль солнышко печет —

так она и не течет,  
и не каплет, значит...

Зря Анютка плачет!  
Зря и ты завела  
разговор о крыше...

Бабка сплюнула со зла:  
— Бес ты! — Трешку подала,  
и Кирюха вышел.  
Вышел, брошенных вдогон  
дополнений слушать  
не желая: дескать, он  
не жалеет Нюшку.  
Дескать, он не в отца.  
Батька — помнят люди —  
в праздник не пил так винца,  
а не то что в будень...

Продавец — в его ларьке  
от бутылок давка —  
Кирю с трешкою в руке  
встретил у прилавка:  
— Вот теперь, пятью пять,  
пей хоть до упаду.  
Мне ведь план выполнять  
все одно надо.

Взял бутылку Кирилл,  
а еще, для плана,  
пару пряников купил,  
попросил стакана.  
Потекло по усам,  
да и в рот попало...  
Но не стал пить все сам,  
угостил Степана.  
— Не... не пью! — сказал Степан.  
— Ха! Теленок тоже  
не пил, не пил, да и пал,  
а ведь пил бы — пожил!

Сдался тот наконец.  
А потом горькой  
взял и сам... Продавец  
улыбнулся только.

И обоих за дверь  
выставил без грома:  
мол, все... Мол, теперь  
продолжайте дома.  
У меня по ресторана,  
братцы, не чайнуха.

И пошли они — Степан,  
а за ним Кирюха.  
И пошли — в руке рука,  
ноги заплетая.  
И была им узка  
улица родная.  
До избы не добрались,  
сели под забором.  
«Я люблю тебя, жизнь!» —  
затянули хором.  
И еще: «Не за так —  
за свои мы пили!»

...Спал Кирюха в кустах,  
а Степан — в крапиве.

#### ТЯЖЕЛАЯ НОША

Однажды, под вечер уже,  
когда роса упала,  
травы потюкать на меже  
Светланка прибежала.

Дала прокос, потом другой.  
И видит: хватит вроде.  
Ну а коса сама собой,  
не унимаясь, ходит.

Трава — пырей да клеверок,  
жаль оставлять такую.  
Набила Светка кузовок,  
пожадничав, втугую,  
взвалила на спину...  
И вот  
(«Хотя бы не увидели!»)

она едва-едва идет,  
согнувшись в три погибели.  
А кузовок, а кузовок  
аж до поджилок — дном.  
И — шлеп да шлеп по икрам ног,  
по голым,  
голеница  
больших резиновых сапог,  
оставленных Алешкой...  
То взад ее шатнет, то вбок,  
то в сторону немножко.

В глазах от пота  
то рябит,  
то обручами круги.  
Глазищи вылезть из орбит  
готовы от патуги.

А тут Евдоха в аккурат  
навстречу ей, в галошах:  
— Да, видно, правду говорят,  
своя не тянет ноша!

И опалил Светланку стыд.  
Сказала: — Дай дорогу! —  
И выпрямилась, сделав вид,  
что уж не так и много  
она несет травы... Пустяк!  
И, поднатужась, ловко  
тряхнула кузовом, да так,  
что лопнула веревка!  
Шлеп! — и качнулся горизонт.  
— Ну вот... — с притворным вздохом  
сказал Евдоха ей. — Ну вот,  
расхвасталась, дуреха! —  
Был ненавистнее врага  
в тот миг ей кузов старый...  
Не надо ей ни молока,  
ни масла, ни сметаны!  
И дойник выбросит она,  
и перебьет посуду,  
поскольку более ни дня  
не хочет быть верблюдом,

таскать траву то на горбу  
из поля, то в охапках...

Перевернулась бы в гробу,  
увидев это, бабка.  
И в самом деле:  
каждый день,  
прибравшись паспех в доме,  
колхозную — не пень о пень —  
она работу ломит.  
Домой вернется — там всегда  
другая ждет работа.  
А ей, покуда молода,  
и поплясать охота,  
и сбегать вечером в кино,  
и почитать газетку...  
Да где уж там: давным-давно  
не читывала Светка.  
Да и в кино, поди, зимой  
последний раз бывала...  
— И все Пеструха! Боже мой!  
Да чтоб она пропала!  
Немедля, завтра ж отведу! —  
в намеренье упряма,  
твердила Светка на ходу.—  
И пусть бранится мама,  
пусть! Не нужна корова мне!

...Конечно же Аписью  
такие, даже и во сне,  
не посещали мысли.  
Возможно, мать была права.  
Возможно. Только Светка-то  
другие помнила слова —  
слова письма заветного,  
что было писано отцом  
с войны еще...  
Нередко  
над тем коротким письмецом  
сидит, бывает, Светка.

Пришло оно как раз в тот год,  
письмо на двух страницах,

когда она еще вот-вот  
должна была родиться.  
Отец писал, корявых букв  
не уместая в строчку:  
«...А ежли ты, Анисья, вдруг  
не сына родишь — дочку,  
то понапрасну не реви.  
Моя такая воля:  
Светланкой дочку назови.  
Пусть будет светлой доля  
у дочки...»

А когда солдат  
вернулся из похода,  
Светланке было, говорят,  
три с половиной года.  
Была она худа, робка,  
а щеки были цвета  
разбавленного молока —  
военных лет примета.

Отец, не сбросив с плеч мешка,  
прижал к щеке сначала  
ее... Потом до потолка  
поднял. Она кричала,  
стараясь вырваться из рук,  
еще совсем не ведая,  
что это он вернулся вдруг,  
отец ее, с победою.  
Отец... Он делал все, что мог,  
чтоб молока и хлебушка  
хватало маленькой. Берег,  
ласкал ее, последышка.

А жизнь в колхозе с первых дней —  
в том не был виноват он —  
и медленнее и трудней,  
чем думалось когда-то,  
шла на поправку...

Боль в боку  
тая, он жил в те годы,  
как лист осепный па суку:  
до первой непогоды.



Однажды — был разгар страды —  
он, потный и усталый,  
в дом прибежал испить воды,  
плуг в борозде оставив.  
В груди пекло как пикогда  
и сдавливало глотку.  
И пил он, и текла вода  
ручьём по подбородку.  
И широко ходил кадык  
под ковшиком... Усталость  
прошла, почувствовал мужик,  
и полегчало малость.

С улыбкой Светку потрепал  
за белые кудерки  
и быстро вышел. И пропал  
из глаз, спустившись с горки.

И бабы видели потом,  
как, подтянув подпругу,  
мужик огрел коня кнутом  
и наклонился к плугу,  
как отмахал он первый круг  
и как, дойдя до края,  
вновь развернул коня...  
И вдруг  
стал падать, отставая  
от плуга...  
Сделал шаг. Другой.  
И — в борозду. Вростяжку.  
На грудь.  
Не подхватив рукой  
слетевшую фуражку.  
А конь из смертно сжатых рук,  
казалось, еле вырвал плуг.  
И, вздрагивая, замер,  
кося назад глазами...

...Шла Светка с кузовом. Верней,  
брела, тропы не видя.  
И закипала все сильнее  
в душе ее обида  
на Лешку: — Бросил! —

На отца:  
— Назвал бы уж Матрешкой!

А ей навстречу от крыльца  
шел улыбаясь Лешка.  
Увидела — и как свеча  
вдруг выпрямилась. Встала.  
И грохнулся опять с плеча  
на землю кузов старый.

#### ДАРЬИНА ЗЕМЛЯ

Лишь из печки выпула пирог —  
глядь, уже и гости на порог.  
— Милости прошу! — И самовар  
быстренько наставила. Гудит он,  
стоя возле печки, домовито...  
А от пирога исходит пар.  
Нет, не пар, пожалуй, а парок...  
Ах, а в нем самом, заметил Лешка,  
так и тает сладкая морошка,  
в зубы так и просится пирог.

В общем, для любимого зятка  
теща постаралась, да и крепко!  
Лешка закурил пока. А Светка  
скатерть принесла из сундука,  
стол, как дома, стала накрывать...  
И — покуда суд да дело —  
на! — и бабка Дарья подоспела:  
к пирогу не падо бабку звать...

Сели. Медный выпатив живот,  
самовар свистел и пел. Казалось,  
что его сиятельству хоть малость  
поднести — приплясывать начнет!  
А пирог Аписын руки жег,  
губы жег... А в рот понавши, таял.  
Бабка Дарья скинула платок,  
чашку пятый раз под кран подставив.

И опять про Лешку завела  
разговор — она была в ударе:

— И добро, что ты вернулся, парень!  
Нынче, глянь, и здесь пошли дела.  
Нынче, слава богу, можно жить  
и в деревне. Рада ли, не рада  
ты, Апися, а кому-то падо  
и земле-кормилице служить.

Вздумать только! — ахнула она. —  
До чего дошло-то: всяк стремится  
лучше жить, а матушка-землица  
никому, посмотришь, не пужна.  
Молодые — те, как журавли:  
кончат школу — и в дорогу, сгрудясь.  
За добром-де...  
А добро-то людям  
спокон веку было от земли!  
Может быть, теперь-то — я стара —  
это уж иначе, по науке, —  
ну а раньше — не с землей в разлуке,  
у земли парод искал добра.

Раньше от нее мы пи на шаг...  
За кого, спросите, замуж Дарью  
выдали? За дрюкшку? За парня?  
Нет! За землю.

— Как же это так?

— А вот так. Семнадцать годов  
выдали... Молила: не губите!  
И в ногах каталась. Но родитель  
топнул — был характером бедов:  
«Дура!» У него на этот счет,  
вишь, свое соображение было:  
«Ей такое счастье подвалило,  
а она кобенится еще,  
не идет! Да каждой и любой  
ждать-пождать такого жениха-то:  
пи сестры, подумай-ко, ни брата, —  
вся землица будет за тобой!»

Вышла: батька был неумолим.  
Пир пошел. Моя родня, известно,  
стала мной бахвалиться, невестой,  
та — землей, богатством своим.

Не расскажешь — было куражу.  
Гомонят, а я рядом с законным,  
с нелюбимым, рядом, под иконой,  
помню, жёва-негодна сижу.

Пропили. И в богодашпый дом  
привезли. А там, под мужней крышей,  
было все: ходила за скотом,  
пряла и рожала ребятишек...  
А потом (вторым уже никак  
тяжела была я) в одночасье  
вышло указание от власти  
землю разделить по едокам.  
Ну, а мой едок... во мне, вот тут.  
Злясь на то, свекровь меня учила:  
«Ты бы хоть откуль-нибудь скочила,  
скоро мерять землю-то пойдут.  
Скочишь, можа, вытряхнешь его...  
Ведь давным-давно толстая эка  
бегаешь!.. Оставишь человека  
без земли — узнаешь каково».

Вот как дорожили, верь не верь,  
мы землей-то, Лешенька, в ту пору!

Лешка, словно он взбирался в гору,  
дух лишь перевел...  
— А что теперь?  
— Да теперь-то, Дарья, красота...  
Я ведь потому и дал обратный,  
задний ход... А раньше, да, права ты,  
та еще была картина, та!  
Вроде б наша, общая навек,  
вся земля, до крайнего падела.  
Ну, а как с пей быть  
и что с пей делать,  
лучше знал... проезжий человек!

А при ситуации такой  
что же оставалось людям, кроме  
как сказать «прости» родимой кровле  
и уйти, на все махнув рукой.

— Оправдался! — бросила шутя  
Светка, прислонясь к плечу Алешки. —  
А ведь мы с тобою, мой хороший,  
засиделись, кажется, в гостях...

#### | ВОЗВРАЩЕНИЕ

Не по чьему-то повелению,  
сам по себе — пришла пора —  
Алешка двинулся к правленью,  
по старой памяти, с утра.  
Пожалуй, был Алешке тяжек  
путь этот... Но в конце концов,  
не все ль равно ему, что скажет,  
его увидев, Бубенцов?  
Он разотрет вот так подошвой  
любой упрек! Ведь не к нему,  
как блудный сын, вернулся Лешка —  
к родному краю своему.  
И пусть он прошлое не очень  
тревожит... Лешка и сейчас  
не только зароботка хочет,  
не только!  
В этом суть как раз.  
Он хочет радости — той самой,  
какою жил из века в век  
в соседстве с темными лесами,  
взрыхляя землю, человек.

Той самой — пусть она скупая  
была, та радость, — год не в год, —  
той, что являлась, искупая  
собою все: тревогу, пот...  
Она являлась, но не прежде  
чем убрал хлеб и скошен луг,  
как оправдание надежды,  
с которой брался он за плуг,  
пахал, лошадку понукая,  
бросал с ладони семена...  
И потому ему такая  
была желанная она!

Он повидал, Алешка, света,  
был в той и в этой стороне.  
И мог обратного билета  
не покупать. Да, мог вполне!  
Ему бы только молвить слово —  
и все! По первому ж письму  
Светланка, бросивши корову,  
сама приехала б к нему.  
Но он, хлебнув много рая,  
вдруг понял, что ему нужна  
его озерная, лесная,  
родная сердцу сторопа.  
И, зову властному не в силах  
противиться, в один из дней  
он через всю страну Россию  
рванулся к ней, рванулся к ней!  
К ее овинам да скворечням...  
Что делать, раз уж он таков:  
на вьюгах яростных замешен,  
на журавлиных зорях здешних,  
на чистых струях родников.

И, полон этим ощущеньем,  
он — стороны родимой сын —  
готов сейчас просить прощенья  
у этих взгорков и равнин,  
у деревенских крыш покатых,  
у тех, уткнувшихся в порог,  
ни перед кем не виноватых,  
но трижды проклятых дорог...

И вот, не в силах скрыть волненья,  
как будто не был здесь сто лет,  
он подошел к крыльцу правленья,  
на коем значилось «Рассвет».  
Чуть постоял, вздохнул всей грудью,  
и, нахлобучив козырек,  
рванул скобу, и — будь что будет! —  
переступил через порог.  
— Привет! — сказал. А кто-то:  
— Здравствуй,  
коли не шутишь...  
— Вроде нет.

— Ну, коли так — садись да хвастай.  
Чай, облетел весь белый свет.

Кирюха, круглые тараща  
глазищи, встал навстречу, рад:  
— Вернулся все-таки, горячка!  
Совсем?  
— Совсем.  
— Ну, то-то, брат!  
Поди-ка, выругала теща?..

А Бубенцов, взглянув в упор,  
сказал: — Я знал, что ты вернешься!  
Садись, продолжим разговор.

#### ЧЕРЕЗ ГОД

В Острече, пожалуй, все как было.  
Лишь столбы сюда шагнули с нив...  
И стоят, как смирные кобылы,  
домики на привязи у них.  
И стоят, фасадом или боком  
к улице, и в час, когда темно,  
светят во все стороны из окоп  
светом, им обещанным давно.  
Радуются: много ль надо пзбам!  
Лампочки включили — и добро.  
Вот еще бы в угол телевизор...  
Больно уж придумано хитро.  
Говорят, и весь-то он с лукошко.  
А захочешь — можешь наяву  
через то волшебное окошко  
поглядеть на матушку-Москву.  
И хотя тебя она при этом  
и не различает, ну а всё ж!  
Лето в Острече сегодня, лето!  
На ветру упруго ходит рожь,  
плещется  
действительно стеною,  
встав по обе стороны тропы,  
там, где, воскрешенные войною,  
помнится, работали серпы...





## СОДЕРЖАНИЕ

«...Полюби ты то, что я люблю...» . . . . .	3
---	---

### 1944—1949

Письмо . . . . .	11
В дороге . . . . .	11
Возвращение . . . . .	12
Рыбачка . . . . .	14
Осеннее . . . . .	15
«Пойдем со мной. Такое расскажу...» . . . . .	16
Дождь . . . . .	17

### 1950—1956

«Тишина над озером. Пыряют...» . . . . .	18
В жару . . . . .	18
О тишине . . . . .	19
Баллада о воде . . . . .	20
Путь открыт! . . . . .	21
У знамени полка . . . . .	22
Новый командир . . . . .	23
А ты бы смог?.. . . . .	24
«На костореза тонкую работу...» . . . . .	25
Воспоминание . . . . .	26
«Полусумрак над лугами...» . . . . .	27
Вечер на Шексне . . . . .	28
На лугу . . . . .	29
В метель . . . . .	30
В клубе рыбаков . . . . .	37
«Начать бы так стихотворенье...» . . . . .	39
Черемуха . . . . .	40
Встреча в поле. (Рассказ девушки-колхозницы) . . . . .	41
Желанные огоньки . . . . .	44
Главы из поэмы «Галинкино лето»	
1. Комбайнерка . . . . .	46
2. В престольный праздник . . . . .	48
На родине . . . . .	56
Что ты рвешь свою гармонь... . . . .	56
Как немцого сердцу падо . . . . .	57

### 1957

Председатель, дай ответ! (Песня) . . . . .	59
Песни в старом доме . . . . .	60
Веселая рука . . . . .	65
Трудное счастье. (Поэма) . . . . .	66
Непогожая ночь . . . . .	66
На дворе . . . . .	68

Вдова-солдатка . . . . .	70
Новость . . . . .	73
Старый чемодан . . . . .	75
Дорога . . . . .	77
Воспоминания . . . . .	79
В гостях . . . . .	83
На трибуне . . . . .	87
Петух устраивает дела. (Басня) . . . . .	90
Барсук и бобры. (Басня) . . . . .	92
Две бочки. (Басня) . . . . .	93

#### 1958

На покосах . . . . .	95
«В стихах деревенских идиллий...» . . . . .	96
После войны . . . . .	97
Черемуха на деревенской улице . . . . .	98
Перед дорогой . . . . .	99
Погожее лето . . . . .	101
Конюх Тарас . . . . .	103
Парни . . . . .	106
Работа . . . . .	107
По ягоды . . . . .	109
По праву земляка. (Поэма) . . . . .	110

#### 1959

Княжица . . . . .	121
Разговор с попутчиком . . . . .	122
Любовная история. (Шутка) . . . . .	123
Доска Почета . . . . .	124
Строка моя . . . . .	125
Первая песня о кузнеце . . . . .	126
Деревенское собрание . . . . .	131
Шефы приехали . . . . .	132
«Закурить — да бежать» . . . . .	135
Уполномоченный . . . . .	136
Девчата . . . . .	138
Когда женится друг . . . . .	140

#### 1960

Выбирали пастуха . . . . .	142
Медведь . . . . .	144
Ледоход . . . . .	144
Мальчишки нашего двора . . . . .	145
Россия . . . . .	147
Живу на земле . . . . .	147
И моя заслуга! . . . . .	149
Стихи, обещанные редактору... . . . .	150
Клевера . . . . .	151
Вани топятся . . . . .	152
Конек на крыше. (Поэма) . . . . .	154
Мать и дочь . . . . .	162
У реки. (По народным мотивам) . . . . .	164

Первые уроки . . . . .	165
Случай на реке. ( <i>Из стихов для детей</i> ) . . . . .	167

#### 1961

«Стихи мои о деревне...» . . . . .	173
В городе . . . . .	174
«Еще свежо и мгlisto...» . . . . .	175
Преодоление. ( <i>Поэма</i> ) . . . . .	176
«Вышел он вместе с Рюминым...» . . . . .	177

#### 1962

«А мне порой дружки-приятели...» . . . . .	202
Выступаем . . . . .	204

#### 1963

Захотелось мишке молока. ( <i>Из стихов для детей</i> ) . . . . .	205
«Оглядываюсь с гордостью назад...» . . . . .	213
«Читаю книжицу изящную...» . . . . .	214
«Жара. Перехожу речушку вброд...» . . . . .	215
Русские сказки . . . . .	216
Бабушкины песни . . . . .	217
Раздумья в полете . . . . .	218
Осень в березовой роще . . . . .	219
Зимняя рыбалка . . . . .	220
«Ловим щук на блесну. Это дело мужское...» . . . . .	222
Окнами на зарю. ( <i>Поэма</i> ) . . . . .	223

#### 1964

Баллада о чистильщике саног . . . . .	246
Баллада о хлебе . . . . .	249
Иван . . . . .	251
Весенний базар . . . . .	252

#### 1965

Учитель . . . . .	254
«Ты — благородный? К черту враки!..» . . . . .	255
Деревенская осень . . . . .	255
Возвращение из командировки . . . . .	256

#### 1966

Был ранний час... . . . .	259
Летний дождь . . . . .	260

#### 1967

Против неба на земле. ( <i>Повесть в стихах</i> ) . . . . .	262
Шумит сосна . . . . .	262
Деревня Острец . . . . .	265

В клубе . . . . .	267
Анисьино утро . . . . .	270
Евдоха-бригадир . . . . .	277
Разговор начистоту . . . . .	282
Дорогой журавлей . . . . .	285
Сенокос . . . . .	288
«Над мокрым лучом скрип коростелей...» . . . . .	289
Хлеб растет на полосе . . . . .	293
Гость . . . . .	296
Кирюхино похмелье . . . . .	300
Тяжелая ноша . . . . .	305
Дарьипа земля . . . . .	310
Возвращение . . . . .	313
Через год . . . . .	315

**Сергей Васильевич Викулов**

**ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ**

**Том первый**

Редактор *В. Андреев*

Художественный редактор *И. Егоров*

Технический редактор *Л. Дунаева*

Корректоры *Т. Стельмах, Т. Любарец*

ИБ № 2661

Сдано в набор 09.10.81. Подписано к печати 03.05.82. А02040. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Гарнитура об. нов. Печать высокая. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 16,91. Усл. краск.-отт. 16,86. Уч.-изд. л. 16,16. Тираж 50 000 экз. Заказ 2027. Цена 1 р. 90 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР

121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Минское производственное полиграфическое объединение им. Я. Коласа. 220005, Минск, Красная, 23

